



Дорогой Бог! Меня зо

Эрик-Эмманюэль Шмитт

ОСКАР

И РОЗОВАЯ ДАМА



и другие истории

Эрик-Эмманюэль Шмитт Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8076553

Оскар и Розовая Дама и другие истории / Эрик-Эмманюэль Шмитт:

Азбука, Азбука-Атти кус; Санкт-Петербург; 2014

ISBN 978-5-389-08751-4

Аннотация

Эрик-Эмманюэль Шмитт – мировая знаменитость, это один из самых читаемых и играемых на сцене французских авторов. В каждой из книг, входящих в Цикл Незримого, – «Оскар и Розовая Дама», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Дети Ноя», «Борец сумо, который никак не мог потолстеть», а также в новой повести «Десять детей, которых никогда не было у госпожи Минг» блистательная интеллектуальная механика сочетается с глубокой человечностью. За внешней простотой, граничащей с минимализмом, за прозрачной ясностью стиля прячутся мудрость философской притчи, ирония, юмор.

Содержание

Оскар и Розовая Дама	6
Мсье Ибрагим и цветы Корана	65
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Эрик-Эмманюэль Шмитт Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник)

«Oscar et la dame rose» – © Editions Albin Michel S.A., – Paris 2002

«Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran» – © Editions Albin Michel S.A., – Paris 2001

«L'enfant de Noe» – © Editions Albin Michel S.A., – Paris 2004

«Le sumo qui ne pouvait pas grossir» – © Editions Albin Michel S.A., – Paris 2009

«Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus» – © Editions Albin Michel S.A., – Paris 2012

© М. Брусовани, перевод, 2013

© Г. Соловьева, перевод, 2005, 2010

© Д. Мудролюбова, перевод, 2005

© А. Браиловский, перевод, 2005

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни

было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*** * ***

Оскар и Розовая Дама

Посвящается Даниэль Дарьё

Дорогой Бог!

Меня зовут Оскар. Мне десять лет, я умудрился поджечь нашего кота, собаку и весь дом (кажется, даже поджарил золотых рыбок), и я пишу тебе в первый раз, потому что прежде мне было совершенно некогда из-за школы.

Сразу предупреждаю: письменные упражнения наводят на меня ужас. По правде, надо, чтобы уж совсем приперло. Потому что писанина – это разные там гирлянды, помпончики, улыбочки, бантики и все такое. Писанина – это всего лишь завлекательные враки. Словом, взрослые штучки.

Могу доказать. Взять хоть начало моего письма: «Меня зовут Оскар. Мне десять лет, я умудрился поджечь нашего кота, собаку и весь дом (кажется, даже поджарил золотых рыбок), и я пишу тебе в первый раз, потому что прежде мне было совершенно некогда из-за школы». Я мог с таким же успехом написать так: «Меня прозвали Яичная Башка, на вид мне лет семь, я живу в больнице, потому что у меня рак, я никогда не обращался к тебе ни с единым словом, потому что вообще не верю, что ты существуешь».

Только напиши я так, все обернулось бы скверно и у тебя вообще пропал бы ко мне всякий интерес. А надо-то как раз,

чтобы ты заинтересовался мной.

Меня устроит, если у тебя найдется время кое в чем помочь мне.

Я сейчас все тебе растолкую.

Больница – это классное место, здесь полно взрослых, пребывающих в отличном настроении, говорят они довольно громко, здесь полно игрушек и розовых тетенок, которые просто жаждут поиграть с детьми, к тому же здесь всегда под рукой масса приятелей вроде Бекона, Эйнштейна или Попкорна, короче, больница – это кайф, если ты приятный больной.

Но я уже не приятный больной. После того как мне сделали пересадку костного мозга, я чувствую, что я им больше не приятен. Нынче утром, когда доктор Дюссельдорф осматривал меня, я, похоже, разочаровал его. Он, не говоря ни слова, глядел на меня так, будто я совершил какую-то ошибку. А ведь я старался во время операции – вел себя благоразумно, позволил усыпить себя, даже не стонал, хоть было больно, послушно принимал всякие лекарства. В иные дни мне хотелось просто наорать на него, сказать ему, что, может быть, это он, доктор Дюссельдорф, со своими угольными бровищами, профукал мою операцию. Но вид у него при этом такой несчастный, что брань застревает у меня в глотке. Чем более сдержанно этот доктор Дюссельдорф со своим огорченным взглядом ведет себя, тем более виноватым я себя чувствую. Я понял, что сделался скверным больным, больным, который

мешает верить, что медицина – замечательная штука.

Эти врачебные мысли – они, наверное, заражны.

Теперь все на нашем этаже: медсестры, практиканты, уборщицы – смотрят на меня точно так же, как он. Когда я в хорошем настроении, у них грустные физиономии; когда я отпускаю шуточки, они силятся рассмеяться. По правде говоря, они смеются громче, чем прежде.

Не переменялась только Бабушка Роза. Но, по-моему, она слишком стара, чтобы меняться. К тому же это ведь Бабушка Роза. Ах да, Бог, я не собираюсь тебя с ней знакомить; судя по тому, что именно она посоветовала написать тебе, это твоя добрая приятельница. Загвоздка в том, что один я называю ее Бабушка Роза. Тебе придется поднатужиться, чтобы представить себе, о ком я говорю: среди всех тетенок в розовых халатах, что приходят присматривать за больными детьми, она самая старая.

– Бабушка Роза, а сколько вам лет?

– Оскар, малыш, ты что, можешь запомнить тринадцатизначное число?

– Заливаете!

– Ничего подобного. Просто нельзя, чтобы здесь узнали, сколько мне лет, иначе я вылечу отсюда и мы больше не увидимся.

– Почему?

– Я устроилась сюда контрабандой. Для сиделок установлен предельный возраст. А я уже здорово перебрала свой

срок.

- Так вы просрочены?
- Ага.
- Как йогурт?
- Цыц!
- О'кей, буду нем как рыба.

Это было чертовски храбро с ее стороны доверить мне свой секрет. Но она сделала верную ставку. Я буду глух и нем, хоть удивительно, что никто ничего не заподозрил. У нее столько морщинок, расходящихся вокруг глаз, как солнечные лучики.

В другой раз я узнал еще один ее секрет, и уж тут-то ты, Бог, точно сразу должен ее узнать.

Мы прогуливались в больничном парке, и она угодила ногой в грязь.

- Вот говно!
- Бабушка Роза, да вы ругаетесь по-черному!
- Слушай, карапуз, отвали, как хочу, так и говорю.
- Ох, Бабушка Роза!
- И давай пошевеливайся. Мы как-никак гуляем, а не устраиваем черепаший бег!

Мы присели на скамейку, достали карамельки, и тут я спросил ее:

- А чего это вы так выражаетесь?

– Ну, это профессиональная болезнь, Оскар. Если бы я использовала только деликатные выражения, то давно бы прогорела с моим ремеслом.

– А чем вы занимались?

– Ни за что не поверишь...

– Клянусь, поверю.

– Я занималась борьбой, кэтчем, выступала на арене.

– Не верю!

– Точно выступала! Меня прозвали Душительницей из Лангедока.

С тех пор, стоило мне впасть в угрюмое настроение, Бабушка Роза, убедившись, что нас никто не слышит, рассказывала мне о своих знаменитых схватках: о поединке Душительницы из Лангедока с Лимузенской Мясорубкой, о том, как она целых двадцать лет сражалась с Дьяволицей Сенклер, у которой были не груди, а ядра, и еще о поединке на кубок мира против Уллы-Уллы по прозвищу Овчарка Бухенвальда, ту никто не мог уложить на лопатки, даже Стальная Задница, с которой Бабушка Роза брала пример, когда занималась борьбой.

Все эти схватки виделись мне как наяву, я воображал свою приятельницу на ринге: маленькая старушка в развевающемся розовом халате задает взбучку людоедкам в трико. Мне казалось, что все это происходит со мной. Я становился сильнее, я мстил своим недругам.

Ну вот, Бог, если, несмотря на все эти приметы, ты все еще

не припомнил Бабушку Розу, тебе следует сказать «стоп» и подать в отставку. Я, кажется, ясно выразился?

Вернусь к своим делам.

Короче, моя операция сильно их разочаровала. Химиотерапия тоже, но не так сильно, поскольку тогда еще оставалась надежда на пересадку мозга. Теперь мне кажется, что лекари не знают, что еще предложить, прямо жалко их. Доктор Дюссельдорф – мама находит его весьма привлекательным, а я нахожу, что у него с бровями перебор, – так вот, у него теперь такое огорченное лицо, прямо Дед Мороз, у которого не хватило на всех подарков.

Словом, атмосфера ухудшилась. Я поговорил об этом со своим приятелем Бекон. На самом деле его зовут не Бекон, а Ив, но мы прозвали его Бекон, поскольку он здорово пригорел.

– Бекон, у меня такое впечатление, что врачи совсем меня разлюбили, я на них плохо действую.

– Еще чего, Яичная Башка. Врачи просто так не сдадутся. У них всегда в запасе куча идей насчет того, что с тобой еще можно проделать. Я тут подсчитал, что они пообещали мне не меньше шести операций.

– Наверное, ты их вдохновляешь.

– Надо думать.

– Но почему бы им не сказать мне просто, что я умру?

И тут Бекон словно оглох, как и все прочие здесь, в больнице. Если ты произносишь здесь слово «смерть», никто это-

го не слышит. Можешь быть уверен, оно улетает в какую-то дыру, потому что они сразу начинают говорить о другом. Я на всех это проверил. Кроме Бабушки Розы.

Итак, сегодня утром я решил испытать и ее.

– Бабушка Роза, похоже, никто не намерен сообщить мне, что я умираю.

Она посмотрела на меня. Что, если она отреагирует как все? Умоляю, Душительница из Лангедока, не сдавайся, не глохни!

– Оскар, а почему ты хочешь, чтобы тебе сказали это, если тебе и так это известно?

Уф-ф! Она услышала.

– Мне кажется, Бабушка Роза, что люди изобрели какую-то иную больницу, чем на самом деле. Они ведут себя так, будто в больницу ложатся лишь затем, чтобы выздороветь. Но ведь сюда приходят и умирать.

– Ты прав, Оскар. Думаю, что ту же самую ошибку совершают и по отношению к жизни. Мы забываем, что жизнь – она тонкая, хрупкая, эфемерная. Мы делаем все, чтобы казаться бессмертными.

– С моей операцией ничего не вышло, ведь так, Бабушка Роза?

Бабушка Роза не ответила. Это был ее способ говорить «да». Уверившись, что я ее понял, она склонилась ко мне и умоляюще произнесла:

– Разумеется, я тебе ничего не говорила. Поклянись!

– Клянусь.

Мы ненадолго замолчали, чтобы свыкнуться с новыми ображениями.

– Оскар, – внезапно сказала она, – а что, если написать Богу?

– О нет, только не вы, Бабушка Роза!

– Что? Почему не я?

– Не вы! Я-то думал, вы не можете обманывать.

– Но я тебя не обманываю.

– Тогда почему вы заговорили о Боге? Хватит, я уже слышал байку про Деда Мороза. Одного раза достаточно!

– Но Оскар, между Богом и Дедом Морозом нет ничего общего.

– Нет, есть. Это одно и то же. Акционерное общество «Запудривание мозгов и компания»!

– Ты воображаешь себе, что я, проведя тридцать лет на арене, из ста шестидесяти пяти боев выиграв сто шестьдесят, из них сорок три нокаутом, я, Душительница из Лангедока, могу хоть на секунду поверить в Деда Мороза?

– Нет.

– Так вот, в Деда Мороза я не верю, я верю в Бога.

Когда так говорят, это точно другое дело.

– А зачем мне писать Богу? – спросил я.

– Тебе будет не так одиноко.

– Не так одиноко с кем-то, кого не существует?

– Сделай, чтобы он существовал.

Она склонилась над моим изголовьем:

– Стоит тебе поверить в него, и он с каждым разом будет становиться чуть более реальным. Прояви упорство, и он действительно будет существовать для тебя. И тогда это принесет тебе благо.

– Что же мне написать ему?

– Поверь ему свои мысли. Невысказанные мысли навязчивы, они тяготят, печалят тебя, лишают подвижности, не дают прорезаться новым мыслям. Если их не высказывать, то мозг превратится в вонючую свалку старых мыслей.

– Ну допустим.

– И потом, учти, Оскар, обращаясь к Богу, можно каждый раз просить лишь что-нибудь одно. Запомни, только одно!

– Бабушка Роза, да он просто слабак, этот ваш Бог. Аладдин с его джином и лампой и то мог загадать целых три желания.

– Но разве не лучше одно желание в день, чем три за всю жизнь?

– О'кей. Итак, я могу попросить у него что угодно? Игрушки, конфеты, машину...

– Нет, Оскар. Не путай Бога с Дедом Морозом. Ты можешь просить у него только о духовных вещах.

– Например?

– Например, о храбрости, терпении, просветлении.

– Ага, понятно.

– Кроме того, Оскар, ты можешь подсказать ему, чтобы

он проявил милосердие к другим.

– Ну уж фигушки, Бабушка Роза, всего одно желание в день – я уж точно поберегу его для себя!

Ну вот, Бог, это мое первое письмо к тебе. Я немножко рассказал, какую жизнь веду здесь, в больнице, где меня рассматривают как помеху медицине. Теперь прошу тебя, внеси ясность: удастся ли мне выздороветь? Ответ: да или нет. Это вроде не слишком сложно. Да или нет. Ненужное зачеркнуть.

До завтра.

Целую,

Оскар

P. S. У меня нет твоего адреса, как же отправить тебе это письмо?

Дорогой Бог!

Браво! Ну ты силен. Не успел я отправить тебе письмо, как уже получил ответ. Как это у тебя выходит?

Сегодня утром, когда я играл в холле в шахматы с Эйнштейном, Попкорн заглянул туда, чтобы предупредить меня:

– Здесь твои родители.

– Мои родители? Не может быть. Они приезжают только по воскресеньям.

– Я видел их машину, красный джип с белым верхом.

– Да быть не может.

Пожав плечами, я вернулся к шахматной доске. Но не мог сосредоточиться, к тому же Эйнштейн прихватил мои фигуры, и это меня еще сильнее взвинтило. Его зовут Эйнштейн вовсе не потому, что он умнее других, просто у него голова в два раза больше. Сдается, что там, внутри, вода. Жалко, что это стряслось именно с мозгом, а то Эйнштейн мог бы такого натворить...

Увидев, что дело идет к развязке, я прекратил игру и потащился за Попкорном в палату, выходящую окнами на автостоянку. Он был прав: это точно прибыли мои.

Надо тебе сказать, Бог, что наш дом отсюда далеко. Я не понимал этого, когда жил там, но теперь, когда я там больше не живу, мне кажется, что это и вправду далеко. К тому же родители могут навещать меня лишь раз в неделю, по воскресеньям, так как по воскресеньям они не работают, ну а я тем более.

– Ну, убедился, кто прав? – сказал Попкорн. – Чего ты мне дашь за то, что я тебя предупредил?

– У меня есть шоколад с орехами.

– А клубники больше нет?

– Нет.

– О'кей, тогда сгодится и шоколадка.

Конечно, я не имел права подкармливать Попкорна, его положили в больницу как раз затем, чтобы он похудел. В девять лет – девяносто восемь кило при габаритах метр десять на метр десять. Единственное, что он мог на себя натя-

нуть, это был американский полосатый свитер-поло. Притом от этих полосок у всех начиналась морская болезнь. Честно говоря, ни я и никто из моих друзей не верим, что ему когда-нибудь удастся похудеть, он вечно ходит такой голодный, что нам становится его жалко и мы подсовываем ему недо-еденные куски. Что такое жалкая шоколадка по сравнению с такой массой жира! Конечно, может, мы и не правы, но ведь даже сиделки прекратили начинять его слабительными свечками.

Я вернулся в свою палату, ожидая, что родители вот-вот заявятся. Поначалу я, запыхавшись, не понял, сколько прошло времени, потом сообразил, что они уже двадцать раз до-брались бы до меня.

Вдруг до меня дошло, где они могут быть. Я выскользнул в коридор, никто этого не заметил; спустился по лестнице, потом в полутьме доковылял до кабинета доктора Дюссельдорфа.

Точно! Они были там. Из-за двери доносились их голоса. Я совсем выбился из сил, поэтому пришлось выждать несколько секунд, чтобы сердце плюхнулось на место, и вот тут-то все и стряслось. Я услышал то, чего не должен был слышать. Мама рыдала, доктор Дюссельдорф повторял: «Мы уже все испробовали, поверьте, мы уже все испробовали», и мой отец отвечал севшим голосом: «Я в этом уверен, доктор, я в этом уверен».

Я застыл на месте, приклеившись ухом к железной двери.

Не знаю, что было холоднее – металл или я сам.

Потом доктор Дюссельдорф сказал:

– Вы хотите навестить его?

– У меня просто не хватит духу, – ответила моя мать.

– Нельзя, чтобы он увидел, в каком мы состоянии, – добавил отец.

И вот тут я понял, что мои родители просто трусы. Нет, хуже: трусы, которые и меня считают трусом!

Из кабинета донесся шум отодвигаемых стульев, я догадался, что они сейчас появятся на пороге, и юркнул в первую попавшуюся дверь.

Так я очутился в чулане, где хранили хозяйственную утварь, там, взаперти, я и провел остаток утра, поскольку, как тебе известно, эти шкафчики можно открыть только снаружи, а не изнутри. Наверное, люди опасаются, что ночью все эти швабры, ведра и тряпки могут сбежать!

Во всяком случае сидеть там, в темноте, было совсем нетрудно, поскольку мне больше не хотелось никого видеть, а после шока от всего услышанного руки и ноги будто отнялись.

Где-то в полдень на верхнем этаже начался изрядный переполох. Я услышал шаги, больницу прочесывали цепью. Потом повсюду принялись выкрикивать мое имя:

– Оскар! Оскар!

Было приятно слышать, что тебя зовут, и не отвечать. Мне захотелось одурачить всех на свете.

Кажется, я немного вздремнул, потом различил шарканье башмаков уборщицы мадам Н'да. Она распахнула дверь, и тут мы оба и вправду напугались и завопили что есть мочи: она – потому что не ожидала наткнуться здесь на меня, а я – потому что забыл, что она такая черная. Да и вопила она неслабо.

Потом была заваруха. Сбежались все: доктор Дюссельдорф, старшая медсестра, дежурные сестры, обслуживающий персонал. Я-то ожидал, что они разнесут меня в пух и прах, а они чуть не хлюпали носами, и я сообразил, как можно воспользоваться этой ситуацией.

– Хочу видеть Бабушку Розу.

– Но где ты был, Оскар? Как ты себя чувствуешь?

– Хочу видеть Бабушку Розу.

– Как ты очутился в этом чулане? Ты за кем-то следил? Ты слышал что-нибудь?

– Хочу видеть Бабушку Розу.

– Выпей воды.

– Нет. Хочу видеть Бабушку Розу.

– Выпей глоточек...

– Нет. Хочу видеть Бабушку Розу.

Гранит. Скала. Бетонная дамба. Все их расспросы ни к чему не привели. Я вообще не слушал, что они мне говорили. Я хотел видеть Бабушку Розу.

Доктор Дюссельдорф, очень недовольный тем, что его коллеги никак не могут повлиять на меня, наконец дрогнул:

– Разыщите эту даму!

Тут я согласился передохнуть и ненадолго прилег в своей палате.

Когда я проснулся, Бабушка Роза была здесь. Она улыбалась.

– Браво, Оскар, твоя атака удалась. Ты им здорово напоядал. Но в результате теперь они завидуют мне.

– Плевать.

– Это славные люди, Оскар. Очень славные.

– А мне на это плевать.

– Что-то случилось?

– Доктор Дюссельдорф сказал моим родителям, что я скоро помру, и они удрали, поджав хвост. Ненавижу их.

Я ей подробно рассказал обо всем, ну как тебе, Бог, в этом письме.

– М-м-м, – протянула Бабушка Роза, – это напомнило мне мой поединок в Бетюне с Сарой Ап-и-Шмяк, атлеткой, вечно намазывавшейся маслом. Эта верткая как угорь трюкачка боролась почти обнаженной, да еще маслом натиралась, так и выскальзывала из рук во время захвата. Она выходила на ринг только в Бетюне и каждый год выигрывала там кубок. Но мне так хотелось заполучить этот бетюнский кубок!

– И что же вы сделали, Бабушка Роза?

– Пока она поднималась на ринг, мои друзья обсыпали ее мукой. Масло плюс мука – отличная панировка. В два притопа три прихлопа я отправила на ковер эту Сару Ап-и-Шмяк.

После этой схватки ее называли не Угрем Ринга, а Панированной Треской.

– Бабушка Роза, простите, но я не вижу тут никакой связи.

– А я ее прекрасно вижу. Всегда есть выход, Оскар, всегда можно что-то придумать, вроде этого трюка с пакетом муки. Знаешь что, тебе нужно написать Богу. Он все же помощнее, чем я.

– Даже на ринге?

– Да. Даже на ринге. У Бога все схвачено. Попробуй, малыш. Что тебя больше всего мучает?

– Ненавижу, просто ненавижу своих родителей!

– Тогда ненавидь их как можно сильнее.

– Вы мне такое говорите, Бабушка Роза?

– Да. Ненавидь их как можно сильнее. Это будет как кость.

А когда ты ее догрызешь, то увидишь, что оно того не стоило. Расскажи все это Богу в своем письме, попроси его навестить тебя.

– Он что, может двигаться?

– На свой лад. Нечасто. Скорее даже редко.

– Почему? Он тоже болен, как я?

Бабушка Роза вздохнула, похоже, ей не хотелось признать, что и ты, Бог, чувствуешь себя неважно.

– Оскар, разве твои родители никогда не говорили тебе о Боге?

– Да бросьте. Мои родители просто болваны.

– Ну да. Но разве они никогда не говорили с тобой о Боге?

– Говорили. Только один раз. Сказали, что не верят в него. Они верят лишь в Деда Мороза.

– Малыш, они что, настолько глупы?

– Вы представить себе не можете! Однажды я вернулся из школы и сказал им, что хватит выставлять меня идиотом, что я, как и все мои приятели, знаю, что Деда Мороза нет и не было. Они выглядели так, будто с Луны свалились. Я был чертовски взбешен: надо же было разыграть из себя такого кретина на школьном дворе, и они тут же поклялись, что вовсе не хотели меня обманывать, что искренне верили, что Дед Мороз существует. Они были страшно разочарованы, ну да, страшно разочарованы, узнав, что это неправда! Говорю вам, Бабушка Роза, дважды прикурки!

– Так, значит, они не верят в Бога?

– Нет.

– И это тебя не зацепило?

– Если бы я интересовался, о чем думают всякие болваны, у меня не хватило бы времени на то, о чем думают умные люди.

– Ты прав. Но тот факт, что твои родители, как ты говоришь, болваны...

– Ну да. Уж точно болваны, Бабушка Роза!

– Так вот, пусть твои родители заблуждаются и не верят в Бога, но почему тебе-то самому в него не поверить и не попросить его навестить тебя?

– Ладно. Но вы ведь не говорили, что он прикован к по-

стели?

– Нет. Но у него есть свой особый способ навещать людей. Он навестит тебя в мыслях. В твоём сознании.

Это мне понравилось. Это сильно.

Бабушка Роза добавила:

– Вот увидишь, его посещения приносят благо.

– О'кей. Я поговорю с ним об этом. А сейчас, если мне что-то и приносит благо, так это ваши посещения.

Бабушка Роза улыбнулась и с почти смущенным видом склонилась, чтобы поцеловать меня в щеку. Но не осмелилась. Она взглядом попросила позволения.

– Валяйте. Обнимите меня. Другим я об этом не скажу. Чтобы не уронить вашу борцовскую репутацию.

Ее губы прикоснулись к моей щеке, я ощутил тепло и легкое покалывание, пахло пудрой и мылом.

– Когда вы опять придете ко мне?

– Я имею право приходить не чаще двух раз в неделю.

– Это невозможно, Бабушка Роза! Ждать три долгих дня!

– Таково правило.

– Кто выдумал это правило?

– Доктор Дюссельдорф.

– Этот доктор Дюссельдорф теперь при виде меня готов напрудить в штаны. Спросите у него разрешения, Бабушка Роза. Я не шучу.

Она нерешительно поглядела на меня.

– Я не шучу. Если вы не будете навещать меня каждый

день, я не стану писать Богу.

– Ладно, я попробую.

Бабушка Роза вышла из палаты, и я расплакался.

Я не признавал прежде, что нуждаюсь в поддержке. Не признавал, насколько серьезно я болен. При мысли, что мне, возможно, больше не удастся увидеть Бабушку Розу, я вдруг понял все, и у меня из глаз покатились слезы, обжигавшие щеки.

К счастью, она вернулась не сразу.

– Все устроилось, у меня есть разрешение. В течение двенадцати дней я могу навещать тебя каждый день.

– Меня, и никого, кроме меня?

– Тебя, и никого, кроме тебя, Оскар. Двенадцать дней.

Тут уж я не знаю, что меня так разобрало, но слезы потекли вновь. Хотя мне было известно, что мальчики не должны плакать, тем более я с моей яичной башкой – ни мальчишка, ни девчонка, так, скорее марсианин. Ничего не поделаешь. Просто не мог удержаться.

– Двенадцать дней? Все так уж плохо, да, Бабушка Роза?

Ее это тоже тронуло до слез. Она колебалась. Бывшая циркачка не позволяла распускаться бывшей девчонке. Было забавно наблюдать за этой борьбой, и я немного отвлекся от сути дела.

– Какой сегодня день, Оскар?

– Что за вопрос! Видите мой календарь? Сегодня девятнадцатое декабря.

– Знаешь, Оскар, в наших краях есть легенда о том, что в течение двенадцати дней уходящего года можно угадать погоду на следующие двенадцать месяцев. Достаточно каждый день наблюдать за погодой, чтобы получить в миниатюре целый год. Девятнадцатое декабря представляет январь, двадцатое – февраль, и так далее, до тридцать первого декабря, которое предвещает следующий декабрь.

– Это правда?

– Это легенда. Легенда о двенадцати волшебных днях. Мне бы хотелось, чтобы мы, мы с тобой, сыграли в это. Главным образом ты. Начиная с сегодняшнего дня смотри на каждый свой день так, будто он равен десяти годам.

– Десяти годам?

– Да. Один день – это десять лет.

– Тогда через двенадцать дней мне исполнится сто тридцать!

– Да. Теперь ты понял?

Бабушка Роза обняла меня – чувствую, она явно вошла во вкус, – и потом удалилась.

Ну так вот, Бог: я родился сегодня утром, ну, это я довольно слабо помню; к полудню все стало яснее; когда мне стукнуло пять лет, я вошел в сознание, но это принесло не слишком добрые вести; сегодня вечером мне исполнилось десять, это возраст разума. Воспользуюсь этим, чтобы попросить тебя об одной вещи: если соберешься сообщить мне что-нибудь, как вот нынче, в полдень, все же делай это помягче.

Спасибо.

*До завтра. Целую,
Оскар*

Р. S. Прошу тебя еще об одной штуке. Знаю, что только что уже использовал свое право, но это не совсем желание, скорее совет.

Я согласен на короткую встречу. Воображаемую, а вовсе не наяву. Это неслабо. Мне бы очень хотелось, чтобы ты навестил меня. Я открыт с восьми утра до девяти вечера. В остальное время я сплю. Иногда я даже днем могу ненадолго вздремнуть из-за лекарств. Если застанешь меня в этом состоянии, буди безо всяких колебаний. Только идиот мог бы упустить такую минуту!

Дорогой Бог!

Сегодня я переживаю подростковый период, и, между прочим, не в одиночку. Вот история! Выдалась масса хлопот с приятелями, родителями, и все из-за девчонок. Уже вечер, и я не слишком печалюсь по поводу того, что мне исполнилось двадцать, потому что могу сказать себе: уф, худшее позади. Вот уж спасибочки за это половое созревание! Один раз еще можно пережить, но снова – ни за что!

Прежде всего, Бог, довожу до твоего сведения: ты не явился. Я сегодня почти не спал из-за возрастных проблем, значит, не мог прошляпить твой приход. И потом, я тебе уже говорил: если я вздремнул, растолкай меня.

Когда я проснулся, Бабушка Роза была уже здесь. За завтраком она рассказывала мне о своих схватках с Королевской Титькой из Бельгии, которая поглощала по три кило сырого мяса в день, заливая это бочонком пива; похоже, что вся сила этой Королевской Титьки заключалась в выдохе: такой запашок из-за перебродившего пива с мясом – ее соперники просто штабелями валялись на ковер. Чтобы победить ее, Бабушке Розе пришлось изобрести новую тактику: надеть специальный капюшон с отверстиями для глаз, пропитав его лавандой, и назваться Ужасом Карпентра. Борьба, как она говорит, требует, чтобы в мозгу тоже были мускулы.

– Кто тебе нравится больше всех, Оскар?

– Здесь, в больнице?

– Да.

– Бекон, Эйнштейн, Попкорн.

– А из девочек?

Тут я привял. Отвечать не хотелось. Но Бабушка Роза ждала, а перед спортсменкой мирового класса не станешь долго ломать комедию.

– Пегги Блю.

Пегги Блю, голубая девочка. Она лежит в предпоследней палате. Почти ничего не говорит, только смущенно улыбается. Будто фея, которая вдруг очутилась в больнице. У нее какая-то мудреная болезнь – голубая, что-то там с кровью, которая должна попадать в легкие, но не попадает, и кожа внешне синеет. Она ждет операции, чтобы сделаться розовой.

Жалко, если это произойдет, мне кажется, в голубом Пегги Блю тоже очень красивая. Вокруг нее столько света и тишины... Стоит подойти, и будто попадаешь под своды церкви.

– А ты говорил ей об этом?

– Не могу же я ни с того ни с сего нарисоваться перед ней и заявить: «Пегги Блю, я тебя люблю».

– Вот именно. Почему ты этого не сделал?

– Я даже не знаю, знает ли она, что я вообще существую.

– Тем более.

– Да вы посмотрите на мою голову? Разве что она обожает инопланетян, но в этом я как раз не уверен.

– А мне ты кажешься очень красивым, Оскар.

После этого замечания Бабушки Розы наша беседа застопорилась. Конечно, приятно слышать такое, даже волоски на руках дыбом встают, но непонятно, что тут ответить.

– Бабушка Роза, но ведь хочется, чтобы ей нравилось не только тело.

– Слушай, что ты чувствуешь, когда видишь ее?

– Мне хочется защитить ее от призраков.

– Как? Здесь что, появляются призраки?

– Ага, притом каждую ночь. Они нас будят, уж не знаю зачем. Это больно, потому что они щиплются. Становится страшно, ведь их не видно. А потом никак не заснуть.

– А тебе эти призраки часто являются?

– Нет. Сплю я крепко. Но по ночам я иногда слышу, как кричит Пегги Блю. Мне так хотелось бы защитить ее.

– Скажи ей об этом.

– Я по-любому не могу это сделать, потому что ночью мы не имеем права выходить из палаты. Такой режим.

– А разве призраки соблюдают режим? Нет, разумеется, нет. Будь похитрее: если они услышат, как ты объявил Пегги Блю, что будешь защищать ее, то ночью они не посмеют явиться.

– Н-да...

– Сколько тебе лет, Оскар?

– Не знаю. Который сейчас час?

– Десять часов. Тебе скоро стукнет пятнадцать лет. Тебе не кажется, что пора уже осмелиться и проявить свои чувства?

Ровно в десять тридцать я принял решение и направился к ее палате. Дверь была открыта.

– Привет, Пегги, я – Оскар.

Она сидела на своей кровати – ни дать ни взять Белоснежка в ожидании принца, в то время как дуралеи гномы считают, что она померла. Белоснежка – как те заснеженные фотографии, где снег голубой, а не белый.

Она повернулась ко мне, и тут я задал себе вопрос: кем я ей кажусь – принцем или гномом? Лично я поставил бы на гнома из-за моей яичной башки. Но Пегги Блю ничего не сказала. Самое замечательное то, что она всегда молчит, и поэтому все остается таинственным.

– Я пришел сказать тебе, что если хочешь, то сегодня и все

следующие ночи я буду охранять вход в твою палату, чтобы призраки сюда не проникли.

Она посмотрела на меня, взмахнула ресницами, и у меня возникло ощущение замедленной съемки: воздух стал воздушнее, тишина тише, я будто шел по воде, и все менялось по мере того, как я приближался к ее постели, освещенной невесть откуда падавшим светом.

– Эй, постой, Яичная Башка: Пегги буду охранять я!

Попкорн вытянулся в дверном проеме, точнее, заткнул собой этот проем. Я задрожал. Если охранять будет он, то тут уж наверняка никакому призраку не просочиться.

Попкорн бросил взгляд на Пегги:

– Эй, Пегги! Разве мы с тобой не друзья?

Пегги уставилась в потолок. Попкорн воспринял это как знак согласия и потянул меня из палаты:

– Если тебе нужна девчонка, бери Сандрину. С Пегги уже все схвачено.

– По какому праву?

– По тому праву, что я в больнице куда давнее тебя. Не устраивает, значит, будем драться.

– На самом деле меня это отлично устраивает.

На меня накатила усталость, и я пошел передохнуть в зал для игр. А Сандрина уже тут как тут. У нее лейкемия, как и у меня, но ей лечение, похоже, пошло на пользу. Ее прозвали Китайкой, потому что она носит черный парик. Прямые блестящие волосы, а также челка придают ей сходство с

китайской. Она посмотрела на меня и выдула пузырь жевательной резинки.

– Хочешь, можешь поцеловать меня.

– Зачем? Тебе жвачки недостаточно?

– Ты даже на это неспособен, олух. Уверена, ты в жизни не целовался.

– Ну и насмешила. В свои пятнадцать, могу тебя заверить, я уже тысячу раз это делал.

– Тебе пятнадцать лет? – удивленно спросила она.

Я взглянул на часы:

– Да. Уже стукнуло пятнадцать.

– Всегда мечтала, чтобы меня поцеловал пятнадцатилетний.

– Это уж точно заманчиво, – ответил я.

И тут она сделала невозможную гримасу, выпятила губы, будто вантуз, присасывающийся к стеклу, и до меня дошло, что она жаждет поцелуя.

Оборачиваюсь и вижу, что там народ уже скопился поглазеть. Похоже, мне не отвертеться. Что ж, надо быть мужчиной. Пора.

Подхожу к ней, целую. Она сцепила руки у меня за спиной, не вырваться, и вообще мокро, и вдруг без предупреждения эта Сандрина сбегривает мне свою жвачку. От удивления я ее целиком проглотил и рассвирепел.

В этот самый миг мне на плечо легла чья-то рука. Да уж, несчастье никогда не приходит в одиночку: явились родите-

ли. Я совсем забыл, что нынче воскресенье.

– Оскар, познакомь нас со своей подружкой.

– Это не моя подружка.

– Все же познакомь нас.

– Сандрина. Мои родители. Сандрина.

– Очень приятно с вами познакомиться, – пропела Китаянка со сладкой улыбкой.

Так и придушил бы ее.

– Оскар, хочешь, чтобы Сандрина пошла с нами в твою палату?

– Нет. Сандрина останется здесь.

Оказавшись в постели, я почувствовал усталость и немного вздремнул. Все равно я не хотел с ними разговаривать.

Когда я проснулся, оказалось, что они натащили мне подарков. С тех пор как я застрял в этой больнице, родителям стало трудно разговаривать со мной, вот они и тащат мне разные подарки, и мы портим день чтением всяких правил игры и способов употребления. Мой отец бесстрашно набрасывается на инструкции, будь они даже на турецком или японском, его не запугаешь, хлебом не корми, дай повозиться со схемой. Если надо убить воскресенье, то тут он просто чемпион мира.

Сегодня он принес мне СД-плеер. Тут уж я не мог привередничать, даже если б возникло такое желание.

– А вчера вы не приезжали?

– Вчера? Почему ты спрашиваешь? Мы же можем только

по воскресеньям. С чего ты это взял?

– Кто-то видел вашу машину на стоянке.

– Ну конечно, на всем белом свете есть один-единственный красный джип. Они же все на одно лицо.

– Ага. В отличие от родителей. А жаль.

Этим я просто пригвоздил их к месту. Тут я взял плеер и прямо у них на глазах дважды, без остановки, прослушал диск со «Щелкунчиком». Им пришлось провести два часа без единого слова. Так им и надо.

– Тебе нравится?

– Угу. Меня тянет ко сну.

До них дошло, что пора уходить. Им было страшно не по себе. Они все переминались с ноги на ногу. Я чувствовал, что они хотят мне что-то сказать, но слова не идут с языка. Было приятно видеть их терзания, пришел их черед.

Потом моя мать придвинулась ко мне, сжала меня крепко, слишком крепко, и сказала дрогнувшим голосом:

– Я тебя люблю, мой маленький Оскар, я так тебя люблю!

Я хотел было воспротивиться, но в последний миг не стал отстраняться, мне вспомнились прежние времена с их незамысловатыми ласками, времена, когда восклицание «Я тебя люблю, Оскар!» звучало совсем безмятежно.

После этого мне опять пришлось вздремнуть.

Бабушка Роза – чемпион по пробуждению. В тот миг, когда я открываю глаза, она всегда тут как тут. И в этот миг у нее всегда наготове улыбка.

– Итак, что твои родители?

– Результат ноль, как обычно. Но они подарили мне записку «Щелкунчика».

– «Щелкунчика»? Что ж, это занятно. У меня была подруга с таким прозвищем. Потрясающая чемпионка. Сжав ноги, она могла переломить шею противнику. А с Пегги Блю ты виделся?

– Не упоминайте о ней. Она невеста Попкорна.

– Это она тебе сказала?

– Нет, он.

– Заливает!

– Не думаю. Я уверен, что он нравится ей куда больше, чем я. Он сильный, а это внушает доверие.

– Говорю тебе, заливает! Я выгляжу как мышка, но на ринге мне доводилось побеждать спортсменов размером с кита или гиппопотама. Взять хоть Сливовую Запеканку – ирландка, вес сто пятьдесят кило, это натошак, в трико, до пива «Гиннесс», плечи как мои ляжки, бицепсы как окорока, а ляжки так вообще не обхватишь. Никакой талии – не за что ухватить. Непобедимая!

– И что вы сделали?

– Если не за что ухватить, значит, это круглое, и надо катить. Я погоняла ее до седьмого пота, а потом шлеп – и опрокинула эту Сливовую Запеканку. Потом потребовалась лебедка, чтобы ее поднять. У тебя, малыш Оскар, костяк легкий, мало ел бифштексов, это точно, но обаяние вовсе не за-

висит от костей или мяса, оно идет от сердца. А вот того, что идет от самого сердца, у тебя хоть отбавляй.

– У меня?

– Пойди к Пегги Блю и выскажи ей то, что у тебя на сердце.

– Я малость устал.

– Устал? Сколько тебе исполнилось к этому часу? Восемнадцать лет? В восемнадцать не знают усталости.

Бабушка Роза знает, что сказать, сразу прибывает энергии.

Уже стемнело, и любой шум эхом отдавался во мраке, линолеум в коридоре поблескивал в лунном свете.

Я вошел в палату Пегги и протянул ей мой плеер:

– Держи. Послушай «Вальс снежинок». Это так красиво! Когда я его слушаю, то думаю о тебе.

Пегги слушала «Вальс снежинок». Она улыбалась, будто этот вальс, как загадочная подружка, нашептывал ей что-то забавное.

Она протянула мне плеер и сказала:

– Красиво.

Это было ее первое слово. Правда же диковинно?

– Пегги Блю, хотел сказать тебе: я не хочу, чтобы тебе делали операцию. Ты и так красивая. Тебе идет голубой цвет.

Я заметил, что ей это понравилось. Я, правда, ей это не затем сказал, но ей точно понравилось.

– Я хочу, чтобы именно ты, Оскар, охранял меня от при-

зраков.

– Можешь на меня положиться, Пегги.

Я был страшно горд. Ведь в конечном счете выиграл-то я!

– Поцелуй меня.

Ну, это типичные девчоночьи штучки, и охота им целоваться! Но Пегги – это совсем не то что Китайка. Она во-все не испорченная, она подставила мне щеку, и мне правда было приятно поцеловать ее.

– До свидания, Пегги.

– До свидания, Оскар.

Ну вот, Бог, такой у меня вышел денек. Я понимаю, что в подростковом возрасте приятного мало. Это нелегко. Но в конечном счете к двадцати годам все утрясается. Так что я обращаюсь к тебе с сегодняшней просьбой: мне бы хотелось, чтобы мы с Пегги поженились. Я не уверен, что женитьба относится к духовной сфере, то есть к твоему ведомству. Можешь ли ты выполнить подобное желание, ведь с этим надо скорее в брачное агентство? Если в твоём отделе этого не водится, сообщи мне поскорее, чтобы я мог переадресовать свое желание более подходящей персоне. Не хочу торопить тебя, но напоминаю, что времени-то у меня мало. Итак: свадьба Оскара и Пегги Блю. Да или нет. Меня бы устроило, если бы ты смог.

До завтра. Целую,

Оскар

Р. С. А в самом деле, какой же у тебя адрес?

Дорогой Бог!

Заметано, я женат. Сегодня у нас двадцать первое декабря, я двигаюсь к тридцатилетию, и я женат. Что касается детей, то мы с Пегги решили, что там дальше будет видно. На самом деле мне кажется, что она еще не готова.

Все произошло нынче ночью.

Около часу до меня донесся стон Пегги. Я так и подскочил в кровати. Призраки! Пегги Блю терзают призраки, а я-то обещал охранять ее. Она поймет, что я урод, и больше не скажет мне ни слова. И будет права.

Я поднялся и пошел на крик. Добравшись до палаты Пегги Блю, я увидел, что она сидит в кровати и с удивлением смотрит на меня. Должно быть, я тоже выглядел удивленным, поскольку рот у Пегги Блю был закрыт, а крики не прекращались.

Итак, я пробрался к следующей двери и понял, что это вопит Бекон, извивающийся в постели из-за ожогов. На мгновение у меня возникли муки совести, я вспомнил тот день, когда проворонил пожар: в доме занялось пламя, досталось и коту, и собаке, поджарились даже золотые рыбки, думаю, в результате они, должно быть, просто сварились. Я представил, что им пришлось пережить, и подумал про себя: бывает, все кончается еще хуже – воспоминания и мучительные ожоги, как у Бекона, несмотря на пересадку кожи и всякие мази.

Бекон свернулся клубком и перестал стонать. Я вернулся к Пегги Блю:

– Так это не ты стонала, Пегги? Я-то всегда считал, что это ты кричишь по ночам.

– А мне казалось, что ты.

Мы больше не возвращались к тому, что произошло, решив, что на самом-то деле каждый в течение долгого времени думал о другом.

Пегги Блю сделалась еще более голубой, это означало, что она сильно смущена.

– Что будешь делать, Оскар?

– А ты, Пегги?

С ума сойти, сколько у нас общего: одни и те же мысли, одни и те же вопросы.

– Хочешь спать здесь, со мной?

Девчонки – это нечто. У меня подобная фраза крутилась бы в мозгу часы, недели, месяцы, прежде чем я сумел бы ее из себя выдавить. А она высказала это так естественно, так просто.

– О'кей.

Я улегся в ее кровать. Было тесновато, но мы провели потрясающую ночь. Пегги Блю пахла орехами, кожа у нее такая же нежная, как у меня с тыльной стороны руки, но у нее везде так. Вытянувшись рядом, мы спали, мечтали, рассказывали о своей жизни.

Когда наутро старшая медсестра мадам Гомет обнаружи-

ла нас, тут уж точно началась настоящая опера. Она развопилась, ночная сестра тоже, они вопили на два голоса то над Пегги, то надо мной, двери хлопали, они призывали всех в свидетели, обзывали нас «несчастливыми малышами», в то время как мы были вполне счастливы. Наконец Бабушке Розе удалось прекратить этот концерт:

– Вы оставите этих детей в покое или нет? Кому вы служите – пациентам или режиму? Мне наплевать на режим, я выше этого. А теперь замолчите. Отправляйтесь чесать языками куда подальше. Здесь вам не базар.

Возражений не последовало, как всегда, когда в дело вмешивается Бабушка Роза. Она проводила меня в палату, и я ненадолго погрузился в сон.

Когда я проснулся, мы смогли все обсудить.

– Итак, Оскар, у вас с Пегги это серьезно?

– Железно, Бабушка Роза. Просто супер, я счастлив. Этой ночью мы поженились.

– Поженились?

– Да. Сделали все, что положено делать мужчине и женщине после свадьбы.

– Ах вот как?

– За кого вы меня принимаете? Мне – который час? – мне уже двадцать, я строю свою жизнь так, как я это понимаю.

– Ну конечно.

– И потом, представляете, то, что прежде, в юности, мне казалось отвратительным – поцелуи и прочие нежно-

сти, – так вот, в конце концов я вошел во вкус. Правда смешно, как все меняется?

– Оскар, я просто восхищаюсь тобой. Ты здорово продвинулся.

– Мы не стали проделывать лишь одну штуку – целоваться, касаясь языками. Пегги Блю боялась, что от этого бывают дети. Что вы думаете об этом?

– Думаю, она права.

– Вот как? Что, если поцеловался в губы, то можно заиметь детей? Тогда у нас с Китайкой будут дети.

– Успокойся, Оскар, это все же маловероятно. Почти невероятно.

Похоже, Бабушка Роза была уверена в своих словах, и это меня немножко успокоило, потому как – я говорю об этом тебе, и только тебе, Бог, – наши с Пегги языки раз, ну, два, ну ладно, больше, соприкоснулись.

Я чуток поспал. Мы с Бабушкой Розой вместе пообедали, и я почувствовал себя лучше.

– С ума сойти, какой я был усталый нынче утром.

– Это нормально, в двадцать – двадцать пять лет гуляют по ночам, устраивают вечеринки, ведут разгульную жизнь и при этом совсем не берегут силы. За это приходится платить. Слушай, пойдем повидаем Бога.

– А и правда, у вас есть его адрес?

– Думаю, мы найдем его в часовне.

Бабушка Роза одела меня как на Северный полюс, обхва-

тила за плечи и проводила в часовню, стоящую в глубине больничного парка, за замерзшими лужайками, но чего это я пытаюсь объяснить тебе, где она расположена, ведь это твои места.

При виде твоей статуи я остолбенел, я наконец увидел, в каком ты состоянии, почти совсем голый, тощий, на этом кресте, повсюду раны, на лбу кровь от шипов, голова бессильно поникла. Это заставило меня задуматься о себе. Во мне поднялся протест. Если бы я был Богом, как ты, то не позволил бы проделать с собой такое.

– Бабушка Роза, если серьезно: вы занимались борьбой, вы были великой чемпионкой, не можете же вы верить в это!

– Почему, Оскар? Ты что, доверял бы Богу больше, если бы увидел культуриста со свиной отбивной, с рельефными мускулами, лоснящейся кожей, с короткой стрижкой и в кокетливых плавках?

– Ну...

– Поразмысли, Оскар. Кто тебе ближе: Бог, который ничего не испытал, или страдающий Бог?

– Конечно страдающий. Но если бы я был он, если бы я был Богом, если бы у меня были такие возможности, как у него, то постарался бы избежать страданий.

– Никто не может избежать страданий. Ни Бог, ни ты. Ни твои родители, ни я.

– Ладно. Согласен. Но зачем страдать?

– Именно. Страдание страданию рознь. Посмотри внима-

тельно на его лицо. Вглядишься. Разве у него страдающий вид?

– Нет. Надо же, ему вроде не больно.

– Ну да. Надо различать два вида мучений, малыш Оскар, – физическое страдание и страдание моральное. Физическое страдание – это испытание. Моральное страдание – это выбор.

– Не понимаю.

– Если тебе в ноги или в запястья вбивают гвозди, тебе не остается ничего иного, кроме как испытывать боль. Ты терпишь. Напротив, при мысли о смерти ты не обязан испытывать боль. Ты не знаешь, что это такое. Таким образом, это зависит от тебя.

– И вы, вы сами знакомы с такими людьми, которых радует мысль о смерти?

– Да, знакома. Моя мать была такой. На смертном одре на ее устах появилась улыбка, она предвкушала, она выказывала нетерпение, она жаждала, чтобы ей открылось то, что должно произойти.

У меня больше не было аргументов. Поскольку меня интересовало, что дальше, я позволил себе слегка обдумать услышанное.

– Но люди по большей части лишены любопытства, – говорила Бабушка Роза. – Они вцепляются в свою оболочку, будто вошь в лысину. Возьмем, к примеру, Сливовую Запеканку, мою ирландскую соперницу, натошак, в трико – сто пятьдесят кило, это перед тем, как выпить пива. Она всегда

говорила мне: «Прости, но я не собираюсь умирать, нет на это моего согласия, я на это не подписывалась». Она ошибалась. Ведь никто не заверял ее, что жизнь должна быть вечной, никто! Но она упорно верила в это, бунтовала, противилась самой мысли о неизбежности ухода, бесилась, впала в депрессию, она похудела, оставила борьбу, при этом она весила всего тридцать пять кило, можно сказать, рыбий скелет, – и сломалась. Понимаешь, она умерла, как все на свете, но мысль о смерти исковеркала ей жизнь.

– Сливовая Запеканка была глупа, да, Бабушка Роза?

– Как деревенская кулебяка. Но такое совсем не редкость. Это довольно часто встречается.

Здесь я поддакнул, с этим я был вполне согласен.

– Люди опасаются смерти, потому что страшатся неведомого. Но неведомое – что это на самом деле? Оскар, я предлагаю тебе не бояться, а верить. Посмотри на лицо распятого Бога: он терпит физическую муку, но не испытывает моральных мучений, так как у него есть вера. Он повторяет себе: это причиняет мне боль, но оно не может быть болью. Вот оно! В этом-то и есть благо веры. Это я и хотела показать тебе.

– О'кей. Бабушка Роза, если меня одолеет страх, я постараюсь пробудить в себе веру.

Она обняла меня. Вообще-то, Бог, мне было хорошо в этой пустой церкви рядом с тобой, таким умиротворенным.

По возвращении в палату я долго спал. Я сплю все дольше и дольше. Будто изголодался по сну. Проснувшись, я сказал

Бабушке Розе:

— По правде сказать, я не боюсь неведомого. Меня мучает, что предстоит потерять тех, кого знал.

— Я согласна с тобой, Оскар. А не позвать ли Пегги Блю выпить с нами чайку?

И Пегги Блю пила с нами чай, они с Бабушкой Розой отлично ладили, нас здорово позабавил рассказ Бабушки Розы о ее схватке с сестрами Жиклетт, это три сестры-близняшки, которые пытались сойти за одну. После каждого раунда одна из сестер, напрыгавшись и измотав соперницу, выскакивала с ринга под тем предлогом, что ей нужно пописать, мчалась в туалет, а ее сестра, находившаяся в отличной форме, возвращалась, чтобы возобновить бой. И так далее. Все верили в то, что существует лишь одна неутомимая прыгунья Жиклетт. Бабушке Розе удалось раскусить подвох, она закрыла двух дублерш в кабинках туалета и выбросила ключ в окно; ну а с той, что осталась, ей удалось довести схватку до конца. Коварная это штука, борьба, да и спорт вообще.

Потом Бабушка Роза уехала. Медсестры надзирали за мной и Пегги Блю, будто мы петарды, которые вот-вот взорвутся. Черт, мне как-никак стукнуло тридцать! Пегги Блю поклялась, что этой ночью она при первой возможности присоединится ко мне; в свою очередь я поклялся ей, что на сей раз не буду пускать в ход язык.

Это правда, мало завести детей, надо еще, чтобы хватило времени их вырастить.

Ну вот, Бог. Не знаю, о чем просить тебя сегодня, потому что это был прекрасный день. Да, сделай как-нибудь, чтобы завтра операция Пегги Блю прошла хорошо. Не так, как моя, если тебе понятно, что я имею в виду.

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Операции вроде не относятся к духовным вещам, может, этого и не водится в твоей кладовой. Тогда сделай как-нибудь, чтобы, каков бы ни был результат операции, Пегги Блю восприняла его как благо. Рассчитываю на тебя.

Дорогой Бог!

Сегодня оперировали Пегги. Я провел десять ужасных лет. Тридцать с хвостиком – это тяжело, это возраст забот и ответственности.

В сущности, Пегги никак не могла присоединиться ко мне этой ночью, потому что мадам Дюкрю, дежурная медсестра, оставалась в палате, чтобы приготовить ее к анестезии. Пегги положили на носилки в восемь часов. У меня сжалось сердце при виде того, как ее провозят на каталке, она была такая маленькая и худая, что ее едва можно было различить под изумрудно-зелеными простынями.

Бабушка Роза держала меня за руку, чтобы я не волновался.

– Бабушка Роза, почему твой Бог допускает, чтобы с людьми стряслось такое, как с Пегги и со мной?

– К счастью, он создал вас, малыш Оскар, потому что без вас жизнь была бы не такой прекрасной.

– Нет. Вы не понимаете. Почему Бог допускает, чтобы люди болели? Он злой? Или просто у него недостаточно сил?

– Оскар, болезнь – она как смерть. Это данность. Это не наказание.

– Сразу видно, что вы ничем не больны!

– Что ты об этом знаешь, Оскар!

Тут я заткнулся. Я и подумать не мог, что у Бабушки Розы, всегда такой внимательной, готовой помочь, могут быть свои проблемы.

– Не стоит скрывать от меня положение дел, Бабушка Роза, вы можете довериться мне. Мне по меньшей мере тридцать два года, у меня рак, жена на операции, так что я знаю, что такое жизнь.

– Я тебя люблю, Оскар.

– Я вас тоже. Но если у вас не все в порядке, могу я что-то для вас сделать? Хотите, я усыновлю вас?

– Усыновишь меня?

– Ну да, я уже усыновил Бернара, когда заметил, что тот захандрил.

– Какого Бернара?

– Моего медвежонка. Там. В шкафу. На полке. Это мой старый медвежонок, у него уже нет ни глаз, ни рта, ни носа, набивка наполовину вывалилась, и повсюду собрались складочки. Он немного похож на вас. Я усыновил его в тот вечер,

когда мои олухи родители принесли мне нового медвежонка! Они думали, что это приведет меня в восторг. Может, они хотели бы и меня заменить на какого-нибудь младшего братца, пока меня там нет. С тех пор я и усыновил своего медвежонка. Я завещаю Бернару все, чем владею. Я и вас, если хотите, могу усыновить, если это вас подбодрит.

– Да, очень хочу. Мне кажется, Оскар, что это меня и правда подбодрит.

– Тогда по рукам, Бабушка Роза!

Потом мы пошли приготовить палату Пегги к ее возвращению, выложили шоколадки, поставили цветы.

Потом я заснул. С ума сойти, сколько я теперь сплю.

Ближе к вечеру Бабушка Роза разбудила меня, сказав, что Пегги Блю уже вернулась и операция прошла успешно.

Мы вместе отправились навестить ее. Возле изголовья сидели ее родители. Не знаю, кто их предупредил, сама Пегги или Бабушка Роза, но они вели себя так, будто им известно, кто я, отнеслись ко мне с уважением, усадили меня между собой, и я мог наблюдать за своей женой вместе с тестем и тещей.

Я был доволен тем, что Пегги по-прежнему была голубой. Явился доктор Дюссельдорф, нахмурил брови и сказал, что в ближайшие часы все должно измениться. Я посмотрел на мать Пегги, та, хоть и не была голубой, все же была очень красивой, и я решил про себя, что после всего, что с нами произошло, моя жена Пегги может быть любого цвета, како-

го пожелает, я все равно буду любить ее.

Пегги открыла глаза, улыбнулась нам, мне, родителям, а потом снова заснула.

Ее родители приободрились, но им было пора уходить.

– Доверяем тебе нашу дочь, – сказали они мне. – Мы знаем, что на тебя можно положиться.

Мы с Бабушкой Розой дождались, пока Пегги снова открыла глаза, а потом я направился в свою палату передохнуть.

Заканчивая письмо, я понял, что сегодня, в конце концов, был хороший день. Семейный. Я усыновил Бабушку Розу, мы с тестем и тещей прониклись друг к другу симпатией, жена моя вновь в добром здравии, хотя около одиннадцати часов она порозовела.

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Сегодня никаких желаний. Нужно же и тебе отдохнуть.

Дорогой Бог!

Сегодня я прожил период от сорока лет до пятидесяти и натворил при этом кучу глупостей.

Перескажу по-быстрому, потому что это не заслуживает внимания. Пегги Блю чувствует себя хорошо, но Китайка, подсланная Попкорном, теперь он меня терпеть не может, настучала ей, что я, мол, целовал ее в губы.

И вот из-за этого Пегги сказала мне, что между нами все кончено. Я протестовал, говорил ей, что с Китайянкой это была ошибка юности, что это было задолго до нее, не может же она заставить меня всю жизнь расплачиваться за прошлые ошибки.

Но Пегги не уступила. Чтобы позлить меня, она даже подружилась с Китайянкой, я слышал, как они заливаются смехом.

Из-за этого, когда Брижит, трисомичка¹, которая вечно клеится ко всем подряд, такие больные страшно привязчивы, заглянула в мою палату поздороваться, я позволил ей целовать меня. Она чуть с ума не сошла от радости, что я ей это позволил. Будто пес, веселящийся, что наконец появился хозяин. Загвоздка в том, что в коридоре был Эйнштейн. Может, у него в мозгу и вода, но ведь он же не ослеп на оба глаза. Он все видел и тут же помчался докладывать Пегги и Китайянке. Теперь весь этаж считает меня развязным, поэтому я и носа за порог не высовываю.

– Бабушка Роза, я просто не понимаю, как это у меня вышло с Брижит...

– Оскар, это все бесовские проделки среднего возраста. От сорока пяти до пятидесяти все мужчины таковы. Они пытаются себя успокоить, проверяют, могут ли еще нравиться женщинам, а не только той, которую любят.

¹ Трисомия – генетическая болезнь, обусловленная наличием добавочной хромосомы в хромосомном наборе.

– Ладно, согласен, пусть я нормальный, но я все же болван, да?

– Да. Успокойся, ты совершенно нормальный.

– И что мне теперь делать?

– Кого ты любишь?

– Пегги. И никого, кроме Пегги.

– Тогда скажи это ей. Первый брак всегда хрупок, всегда неустойчив, но нужно перебороть себя, чтобы сохранить его, если оно того стоит.

Слушай, Бог, завтра Рождество. Я никогда не понимал, что это твой день рождения. Сделай как-нибудь, чтобы я помирился с Пегги. Не знаю, от этого или нет, но сегодня вечером мне очень грустно и мужество совсем покинуло меня.

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Теперь, когда мы подружились, скажи, что тебе подарить на день рождения?

Дорогой Бог!

Сегодня утром в восемь часов я сказал Пегги, что любил ее, что любил лишь ее одну и не представляю себе жизни без нее. Она расплакалась и призналась, что я причинил ей сильную боль, потому что она тоже не любила никого, кроме меня, и что у нее не будет никого другого, тем более теперь, когда она порозовела.

И вот что любопытно: мы оба разрыдались, но это было

очень приятно. Странная штука эта семейная жизнь. Особенно после пятидесяти, когда испытания уже позади.

Ровно в десять часов я понял, что нынче и вправду Рождество, что мне нельзя будет остаться с Пегги, потому что вся ее родня: братья, дядюшки, племянники, кузены – вот-вот объявится в ее палате, а мне предстоит выдержать визит родителей. Что же они еще собираются мне подарить? Головоломку из восемнадцати тысяч деталей? Книжки на курдском языке? Коробку, битком набитую инструкциями? Мой фотопортрет, снятый в те времена, когда я был здоров? Креатины, у которых мусорное ведро вместо головы, с такими горизонт всегда затянут тучами, приходится опасаться всего на свете. Словом, можно быть уверенным лишь в одном: мне предстоит дурацкий денек.

Мгновенно приняв решение, я организовал побег. Маленький обмен: мои игрушки – Эйнштейну, покрывало – Бекону, а конфеты – Попкорну. Маленькое наблюдение: Бабушка Роза, перед тем как уйти, всегда заглядывает в раздевалку. Маленькая догадка: мои родители прибудут не раньше полудня. Все вышло отлично: в одиннадцать тридцать Бабушка Роза поцеловала меня, пожелав хорошо провести Рождество вместе с родителями, а потом скрылась в раздевалке. Я свистнул. Попкорн, Эйнштейн и Бекон помогли мне быстро одеться, поддерживали под руки, пока мы спускались по лестнице. Они донесли меня прямо до колымаги Бабушки Розы (ее машину явно сделали в доавтомобильную эру).

Попкорн, здорово поднаторевший в открывании всяких замков, поскольку он вырос не в самых респектабельных местах, открыл с помощью отмычки заднюю дверцу, и они водворили меня на пол между передним и задним сиденьями. Потом они, никем не замеченные, вернулись в больницу.

Бабушка Роза через энное время забралась в свою машину, мотор покряхтел раз десять-пятнадцать, перед тем как завестись, и автомобиль с адским ревом тронулся. Эти машины доавтомобильной эры – просто гениальная штука. Поднимается такой гвалт, будто мчишься по тряской дороге в ярмарочный день.

Проблема заключалась в том, что Бабушка Роза, должно быть, обучалась вождению у своего друга каскадера: ей было плевать на всякие там светофоры, тротуары и транспортные развязки, к тому же машину время от времени подбрасывало. В кабине сильно трясло, а Бабушка Роза изо всех сил жала на клаксон. Кстати, мой словарный запас весьма обогатился: она так и сыпала проклятиями в адрес всякой сволочи, попадавшейся на пути, я в который раз подумал о том, что борьба на ринге – это отличная школа жизни.

Я собирался, когда мы доберемся до места, выпрыгнуть с возгласом «Бабушка Роза, куку!», но эта езда с препятствиями длилась так долго, что меня сморил сон.

Когда я проснулся, кругом было по-прежнему темно и тихо, я обнаружил, что в машине никого нет, а подо мной мокрый коврик. Тут до меня впервые дошло, что я, похоже, сглу-

пил.

Я вышел из машины, падал снег. Но меж тем это было совсем не так приятно, как в «Вальсе снежинок» из «Щелкунчика». У меня зуб на зуб не попадал.

Я оказался перед большим освещенным домом. Шагнул вперед. Мне было довольно скверно. Кое-как допрыгнул до звонка и рухнул на плетеный коврик.

Там-то меня и обнаружила Бабушка Роза.

– Но... Но... – пыталась она что-то сказать. Потом склонилась ко мне и прошептала: – Дорогой мой.

И тогда я подумал, что, может, это было не так уж глупо.

В гостиной, куда она меня внесла, стояла огромная наряженная елка, слепившая глаза. Я удивился, как здорово у нее дома. Бабушка Роза отогрела меня у огня, и мы выпили по большой чашке шоколаду. Может, конечно, она хотела сперва удостовериться, что мне уже стало лучше, прежде чем отругать. Но благодаря этому я успел прийти в себя, это было не так-то просто, потому что в тот момент меня охватила сильная усталость.

– Оскар, в больнице все тебя разыскивают. Там такой переполох. Твои родители просто в отчаянии. Они уже сообщили в полицию.

– Это меня не удивляет. С них станется поверить, что я смогу их полюбить, стоит на меня надеть наручники...

– В чем ты их упрекаешь?

– Они боятся меня. Не осмеливаются говорить со мной.

И чем больше они робеют, тем больше я сам себе кажусь чудовищем. Почему? Разве я навожу на них ужас? Неужто я настолько безобразен? Я что, стал идиотом и сам того не заметил?

– Оскар, они боятся не тебя. Они боятся твоей болезни.

– Моя болезнь – это часть меня. Им не следует менять свое поведение из-за того, что я болен. Неужто они могут любить меня, лишь когда я здоров?

– Они любят тебя, Оскар. Они мне так сказали.

– Вы говорили с ними?

– Да. Они завидовали тому, что мы с тобой так ладим. Нет, не завидовали, им было грустно. Грустно, что у них так не выходит.

Я пожал плечами, но гнев мой уже несколько улегся. Бабушка Роза принесла мне вторую порцию горячего шоколада.

– Понимаешь, Оскар, конечно, однажды ты умрешь. Но ведь твои родители, они умрут тоже.

Меня удивили эти слова. Никогда не думал об этом.

– Да. Они тоже умрут. Совсем одни. Жестоко упрекая себя в том, что не смогли помириться со своим единственным ребенком, с обожаемым Оскаром.

– Не говорите так, Бабушка Роза. Это вгоняет меня в тоску.

– Подумай о них, Оскар. Да, тебе предстоит умереть. Ты очень умен и понимаешь это. Но ты не понял, что умрешь

не только ты. Все умрут. Твои родители однажды тоже. И я тоже.

– Да. Но в конце-то концов я уйду прежде, чем вы.

– Это так. Ты уйдешь прежде. Но между тем разве ты имеешь право делать все что угодно, поскольку уйдешь прежде? Право забывать о других?

– Я понял, Бабушка Роза. Позвоните им.

Ну вот, Бог, продолжение я перескажу тебе коротко, а то у меня уже рука устала от писанины. Бабушка Роза позвонила в больницу, а те предупредили моих родителей, они прибыли к Бабушке Розе, и мы все вместе отпраздновали Рождество.

Когда явились родители, я сказал им:

– Простите, я забыл, что и вам тоже однажды предстоит умереть.

Не знаю, может, эти слова помогли им освободиться от скованности, но после этого они стали такими, как раньше, и мы классно провели рождественский вечер.

На десерт Бабушка Роза захотела посмотреть по телевизору полуночную рождественскую мессу и турнир по кэтчу в записи. Она сказала, что из года в год, чтобы встряхнуться, устраивает себе просмотр боев перед рождественской мессой, и это доставляет ей удовольствие. И вот мы поглядели приготовленную ею кассету. Это было великолепно. Мефиста против Жанны д'Арк! Трико и велосипедные леггинсы! «Вот чертовы бабы!» – сказал папа. Он весь покраснелся, похоже, ему здорово понравился кэтч. Трудно вообразить се-

бе, сколькими крепкими ударами в челюсть они обменялись. Я бы уже сто раз сдох в таком поединке. «Это зависит от тренировки, — сказала Бабушка Роза, — чем больше получаешь ударов в челюсть, тем легче их переносишь. Надо всегда сохранять надежду». И правда, выиграла Жанна д'Арк, хотя в действительности поначалу в это было трудно поверить. Словом, тебе бы это понравилось.

Кстати, Бог, с днем рождения! Бабушка Роза, укладывая меня в кровать своего старшего сына, он работает ветеринаром в Конго, лечит слонов, заверила меня, что мое примирение с родителями может послужить хорошим подарком тебе на рождение. Честно говоря, я считаю, что это подарочек так себе, но раз уж Бабушка Роза, твоя старая приятельница, так думает...

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Чуть не забыл про свое желание: пусть мои родители всегда будут такими, как в этот вечер. И я тоже. Это было забавное Рождество, особенно Мефиста против Жанны д'Арк. Извини, что пропустил мессу, я отрубился раньше.

Дорогой Бог!

Мне исполнилось шестьдесят лет, и я расплачиваюсь за вчерашние излишества. Сегодня я, прямо скажем, не в лучшей форме.

Было приятно вернуться к себе в больницу. В старости

всегда пропадает желание путешествовать. Я уверен, что теперь мне не захочется покидать палату.

В своем вчерашнем письме я забыл упомянуть, что на лестнице у Бабушки Розы, на этажерке, стоит статуэтка Пегги Блю. Могу поклясться чем хочешь. В точности она, только из гипса, то же нежное лицо, те же голубые тона одежды и кожи. Бабушка Роза утверждает, что это Дева Мария, твоя мать, если я правильно понял; статуэтка хранится в ее семье уже несколько поколений. Она позволила мне ее взять. Я поставил ее на тумбочку у кровати. В любом случае когда-нибудь это снова вернется к семейству Бабушки Розы, поскольку я ее усыновил.

Пегги Блю чувствует себя лучше. Она приезжала навестить меня в кресле на колесиках. Она не признала себя в статуэтке, но мы славно провели время вместе. Слушали «Щелкунчика», держась за руки, это напомнило нам прошлое.

Не могу говорить с тобой дольше, потому что мне немного тяжело удерживать ручку. Здесь все поголовно больны, даже доктор Дюссельдорф, – а все шоколад, паштет из гусиной печени, засахаренные каштаны и шампанское, которыми родители задаривали персонал. Мне хотелось бы, чтобы ты навестил меня.

Целую. До завтра,

Оскар

Дорогой Бог!

Сегодня я прожил от семидесяти лет до восьмидесяти и много размышлял.

Вначале я использовал подарок, который преподнесла мне Бабушка Роза на Рождество. Не знаю, говорил ли я тебе? Это растение из пустыни Сахара, которому на жизнь отпущен всего один день. Как только его семена впитывают воду, оно прорастает, дает побег, выпускает листочки, цветок, появляются семена, затем оно увядает, съеживается и – хоп, вечером все кончено. Гениальный подарок, спасибо, ты здорово это придумал. Сегодня в семь утра мы с Бабушкой Розой и родителями полили его – кстати, не помню, сказал ли я тебе, что родители переехали к Бабушке Розе, потому что это ближе, – так вот, я смог видеть все моменты его развития. Страшно разволновался. Конечно, это довольно чахлый и мелкий цветок – ничего общего с баобабом, но он на наших глазах отважно, без остановок, в течение дня исполнил свой долг растения, не хуже чем какой-нибудь крупный экземпляр.

Мы с Пегги Блю долго читали Медицинский словарь. Это ее любимая книга. Ее страстно интересуют болезни, и она ломала голову над тем, какие из них могут позже выпасть на ее долю. А я искал интересующие меня статьи: *Жизнь, Смерть, Вера, Бог*. Хочешь верь, хочешь нет, их там не оказалось. Заметь, это доказывает хотя бы то, что жизнь, смерть, вера и ты сам – вовсе не болезни. Так что это скорее хорошая новость. Но между прочим, разве в такой серьезной книге не

должны содержаться ответы на самые серьезные вопросы?

– Бабушка Роза, я поражен, что в Медицинском словаре даны только частности, описаны различные неполадки, которые могут возникнуть у того или иного человека. Но там нет ничего про то, что касается всех нас: Жизнь, Смерть, Вера, Бог.

– Оскар, может, надо было взять Философский словарь? Между тем, даже если тебе удастся найти волнующие тебя темы, есть риск, что ты все равно будешь разочарован. По каждому поводу там дается множество довольно разных ответов.

– Как это?

– Интересующие всех вопросы так и остаются вопросами. Они окутаны тайной. К каждому ответу нужно прибавлять «быть может». Окончательный ответ можно дать лишь на лишённые интереса вопросы.

– Вы хотите сказать, что у Жизни нет единственного решения?

– Я хочу сказать, что Жизнь имеет множество решений, а значит, единственного решения нет.

– Я как раз думал именно об этом, Бабушка Роза, – что для жизни нет иного решения, чем просто жить.

К нам заходил доктор Дюссельдорф. По-прежнему с видом побитого пса. Его густые черные брови только усиливают это впечатление.

– Вы причёсываете свои брови, доктор Дюссельдорф? –

спросил я его.

Он удивленно оглянулся по сторонам, будто хотел спросить у Бабушки Розы и моих родителей, не ослышался ли он. В конце концов он приглушенно выдавил «да».

– Доктор Дюссельдорф, какой смысл расхаживать с виноватым видом? Слушайте, я скажу вам начистоту, потому что я всегда вел себя очень корректно в плане лечения, а вы в том, что касается болезней, вы были совершенно безупречны. Оставьте этот свой виноватый вид. Не ваша вина, если вам приходится сообщать людям скверные вести, рассказывать про все эти болезни с латинскими названиями и про то, что это неизлечимо. Освободитесь. Расслабьтесь. Вы не Бог-Отец. Вы не можете приказывать природе. Вы всего лишь занимаетесь ремонтом. Притормозите, доктор Дюссельдорф, сбросьте напряжение, не придавайте своим действиям слишком большого значения, иначе при такой профессии вы долго не продержитесь. Вы только поглядите на себя.

При моих словах у доктора Дюссельдорфа сделался такой вид, будто он невзначай проглотил яйцо. Потом на его лице возникла улыбка. Настоящая улыбка. Он обнял меня:

– Ты прав, Оскар. Спасибо, что сказал все это.

– Не за что, доктор. Всегда к вашим услугам. Заходите когда вздумается.

Вот так-то, Бог. Зато тебя я жду всегда. Приходи без колебаний. Даже если в этот момент вокруг полно народу. Мне правда будет приятно.

До завтра. Целую,

Оскар

Дорогой Бог!

Пегги Блю уехала. Она вернулась к родителям. Я ведь не идиот и понимаю, что больше ее не увижу. Никогда.

Я не писал тебе, потому что было очень грустно. Мы с Пегги прожили жизнь вместе, и теперь я оказался один, лысый, ослабевший, усталый – лежу себе в постели. Какое безобразие эта старость.

Теперь я разлюбил тебя.

Оскар

Дорогой Бог!

Спасибо, что зашел.

Ты выбрал ровно тот момент, что нужно, потому что я чувствовал себя скверно. Может, и ты был раздражен из-за моего вчерашнего письма...

Когда я проснулся, мне почудилось, что мне уже девяносто лет. Я повернул голову к окну, чтобы посмотреть на снег.

И тут я догадался, что ты приходил. Было утро. Я был один на Земле. Было так рано, что птицы еще спали, даже дежурная медсестра мадам Дюкрю вздремнула, а ты, ты тем временем пробовал сотворить рассвет. Это оказалось довольно трудно, но ты все же справился. Небо постепенно бледнело. Ты наполнил воздушные сферы белым, серым, голубым, ты отстранил ночь и оживил мир. Ты не останавли-

вался. И тут я понял различие между тобой и нами: ты неутомимый мужик! Ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он, день! Вот ночь! Вот весна! И вот зима! И вот она, Пегги Блю! И вот Оскар! И вот Бабушка Роза! Какое здоровье!

Я понял, что ты был здесь. И открыл мне свою тайну: нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз.

Что ж, я последовал твоему совету и применил это. В первый раз. Я созерцал свет, краски дня, деревья, птиц, животных. Я чувствовал, как в мои ноздри входит воздух и заставляет меня дышать. Я слышал голоса, разносившиеся в коридоре будто под сводами собора. Я ощутил себя живым. Меня переполняла дрожь чистой радости. Счастье бытия. Я был преисполнен изумления.

Бог, спасибо, что ты сделал это для меня. Мне казалось, что ты взял меня за руку и ввел в сердцевину тайны, чтобы созерцать эту тайну. Спасибо.

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Мое желание: ты не смог бы повторить этот трюк с первым разом для моих родителей? Бабушка Роза, мне кажется, уже его знает. И потом еще разок для Пегги, если у тебя найдется время...

Дорогой Бог!

Сегодня мне сто лет. Как Бабушке Розе. Я много сплю, но чувствую себя хорошо.

Я попытался объяснить своим родителям, что жизнь — забавный подарок. Поначалу этот подарок переоценивают: думают, что им вручили вечную жизнь. После — ее недооценивают, находят никудышной, слишком короткой, почти готовы бросить ее. И наконец, сознают, что это был не подарок, жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить. Мне сто лет, и я знаю, о чем говорю. Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус к жизни. Нужно быть эстетом, художником. Какой-нибудь кретин в возрасте от десяти до двадцати лет может играть жизнью по собственной прихоти, но в сто лет, когда уже не можешь больше двигаться, тут уже следует использовать интеллект.

Не знаю, удалось ли мне их убедить.

Навести их. Закончи работу. А я немного устал.

До завтра. Целую,

Оскар

Дорогой Бог!

Сто десять лет. Это много. Кажется, начинаю умирать.

Оскар

Дорогой Бог!

Мальчик умер.

Я навсегда останусь Розовой Дамой, но никогда больше не буду Бабушкой Розой. Я была ею только для Оскара.

Он угас нынче утром, за полчаса, пока мы с его родителями пошли выпить кофе. Это случилось, когда нас не было. Я думаю, он, желая пощадить нас, выжидал именно этого момента. Будто хотел избавить нас от жестокого зрелища смерти. На самом деле это не мы, это он заботился о нас.

У меня болит душа, на сердце тяжело, там живет Оскар, и я не могу прогнать его. Нужно, чтобы мне удалось удержаться от слез до вечера, потому что невозможно сравнить мою скорбь с той непереносимой болью, что испытывают его родители.

Спасибо, что мне выпало узнать Оскара. Ради него я старалась быть забавной, выдумывала разные небылицы. Благодаря ему я познала смех и радость. Он помог мне поверить в Тебя. Меня переполняет любовь, она жжет мое сердце, он дал мне ее столько, что хватит еще на много лет.

До встречи,

Бабушка Роза

Р. S. В последние три дня Оскар держал на тумбочке у кровати карточку. Думаю, это Тебя касается. Он написал: «Только Бог имеет право разбудить меня».

Мсье Ибрагим и цветы Корана

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я взломал своего поросенка и отправился навестить потаскушек.

Поросенок – это свинья-копилка из глазурированного фарфора с маленькой щелью, куда можно опускать монеты, но вынуть их уже не получится. Мой отец выбрал эту одностороннюю копилку, так как она соответствовала его представлениям о жизни: деньги существуют для того, чтобы их копить, а не тратить.

В утробе поросенка было двести франков. Четыре месяца работы.

Однажды утром, когда я собирался в школу, отец сказал мне:

– Моисей, я не понял... Здесь недостает денег... Начиная с этого дня будешь записывать в кухонной книге все, что ты потратил на покупки.

То есть мало того, что на меня наезжают и в школе и дома, я учусь, готовлю еду, приношу продукты; мало того, что я живу один в огромной темной квартире, холодной и пустой, что я скорее раб, чем сын адвоката, лишенного дел и жены, так теперь нужно было еще и счесть меня вором! Что ж, раз меня заподозрили в воровстве, почему бы и в самом деле не попробовать.

Значит, в утробе поросенка было двести франков. Двести

франков – столько стоила девица с Райской улицы. То была цена обретения мужественности.

Первые девицы, к которым я обратился, спросили у меня паспорт. Несмотря на мой голос и вес – я толстый, как мешок со сладями, – они усомнились, что мне уже шестнадцать, хоть я клятвенно заверил их в этом; наверное, они видели, как я рос все эти годы, когда я проходил мимо них, цепляясь за сетку с овощами.

В конце улицы, под козырьком парадной, стояла новенькая. Пухленькая, хорошенькая как картинка. Я показал ей деньги. Она улыбнулась:

– Тебе что, уже стукнуло шестнадцать?

– Ну да, сегодня утром.

Мы поднялись наверх. Мне с трудом верилось: ей двадцать два, просто старуха, и вот она принадлежит мне. Она мне объяснила, как нужно вымыться, затем – как заниматься любовью...

Естественно, я все знал наизусть, но все же позволил ей рассказать, чтобы она не чувствовала себя неловко, и вообще мне нравился ее голос, чуть капризный и грустный. Все это время я пребывал в полуобморочном состоянии. Когда все закончилось, она нежно погладила меня по голове и сказала:

– Не забудь вернуться и принести мне подарочек.

Это едва не отравило мне всю радость: о подарочке-то я забыл. Ну вот, я стал мужчиной, получив крещение в лоне женщины; я едва держался на ногах, так сильно они дрожа-

ли, а неприятности уже начались: я забыл о пресловутом подарочке.

Я опрометью помчался домой, кинулся к себе в комнату, оглядел ее в поисках самого ценного, что можно подарить, и тут же понесся обратно на Райскую улицу. Девушка все еще стояла на крыльце. Я отдал ей своего плюшевого медвежонка.

Примерно в этот период я и познакомился с мсье Ибрагимом.

Мсье Ибрагим всегда был старым. По единодушным воспоминаниям жителей Голубой улицы и Рыбного предместья, мсье Ибрагим всегда находился в своей продуктовой лавке, с восьми утра и до полуночи; он сидел, ссутулившись, между кассой и грудой моющих средств, одна нога вылезала в проход, другая умещалась под коробками спичек, серый фартук надет поверх белой рубашки, из-под жестких усов виднеются зубы цвета слоновой кости, а глаза у него фисташкового цвета, зеленовато-карие, светлее, чем его смуглая кожа, испещренная пигментными пятнами мудрости.

Ибо мсье Ибрагим, по всеобщему мнению, слыл мудрецом. Несомненно, потому, что он уже по крайней мере лет сорок умудрялся быть Арабом на еврейской улице². Несом-

² «Arabe du coin» (фр.) – букв. местный араб: торговец предметами первой необходимости, едой и т. д., чей магазин находится прямо около дома человека, употребляющего это выражение. Таким образом, «местный араб» у каждого свой.

мненно, потому, что он много улыбался и мало говорил. Несомненно, потому, что он, казалось, существовал вне обыденной суеты простых смертных, в особенности парижан, так как вечно пребывал в неподвижности, словно ветка, выросшая из табурета, никогда ничего не раскладывал на прилавке в чьем-либо присутствии, а с полуночи до восьми утра вообще исчезал незнамо куда.

Так вот, каждый день я ходил в магазин за едой. Я покупал только консервы. Я покупал их каждый день вовсе не затем, чтобы они всегда были свежими, нет, а из-за того, что отец давал мне денег только на один день, и вообще так было легче готовить!

Когда я начал обкрадывать отца, чтобы наказать его за напрасные подозрения, я стал приворовывать и у мсье Ибрагима. Мне было немножко совестно, но, борясь со стыдом, я говорил себе уже у кассы, приготовив деньги: «В конце концов, это всего лишь Араб!»

Каждый день я пристально смотрел в глаза мсье Ибрагиму, и это придавало мне смелости.

В конце концов, это всего лишь Араб!

– Я не араб, Момо, я родом из стран Золотого Круассана³.

Я забрал покупки и, ошеломленный, вышел на улицу. Мсье Ибрагим слышал мои мысли! Значит, если он мог их слышать, а мне кажется, что да, может, он знал и то, что я его обкрадываю? На следующий день я не прихватил ни одной

³ Страны Золотого Круассана – Афганистан и Пакистан.

банки и спросил его:

– А это что значит – Золотой Круассан?

Признаюсь, что мне всю ночь мерещился мсье Ибрагим, несущийся по звездному небу, оседлав золотой полумесяц.

– Так называют область, которая простирается от Анатолии до Персии, Момо.

На следующий день, доставая кошелек, я сообщил:

– Меня зовут не Момо, а Моисей.

А еще через день сообщил уже он:

– Я знаю, что тебя зовут Моисей, и именно поэтому я зову тебя Момо, это звучит не так обязывающе.

Через день, пересчитывая сантимы, я спросил:

– А вам-то что до этого? Моисей – это же еврейское имя, а не арабское.

– Я не араб, Момо, я мусульманин.

– Тогда почему говорят, что вы местный Араб, если вы не араб?

– Араб, Момо, в нашей торговле это значит: «Открыт с восьми утра до полуночи и даже по воскресеньям».

Так и шел разговор. По одной фразе в день. Времени у нас было достаточно. У него – поскольку он был уже стар, у меня – поскольку молод. Раз в два дня я крал у него по банке консервов.

Наверное, нам понадобился бы год или два, чтобы получился часовой разговор, если бы мы не встретили Брижит

Бардо.

Страшное оживление на Голубой улице. Движение остановлено. Улица заблокирована. Снимают фильм.

Все особи женского и мужского пола на Голубой улице, на улице Бабочек и в Рыбном предместье находятся в состоянии готовности. Женщины хотят проверить, так ли она хороша, как про нее говорят; мужчины же больше не думают, их размышления застряли в молнии ширинки. Брижит Бардо здесь! Эй, настоящая Брижит Бардо!

А я устраиваюсь себе у окна. Смотрю на нее, и она напоминает мне соседскую кошку с пятого этажа, красивую кошечку, которая любит вытянуться на залитом солнцем балконе, и кажется, что она живет, дышит, моргает и щурится только ради того, чтобы вызывать восхищение. Приглядевшись получше, я обнаруживаю, что она к тому же очень похожа на проститутку с Райской улицы; на самом деле это проститутки с Райской улицы, чтобы привлечь клиентов, подражают Брижит Бардо, но я-то этого не понимаю. Наконец, в крайнем изумлении я замечаю, что мсье Ибрагим вышел на крыльцо своей лавки. Впервые, по крайней мере на моем веку, он оторвался от своей табуретки.

Насмотревшись, как зверюшка Бардо фыркает перед камерами, я раз мечтался о прекрасной блондинке, завладевшей моим медвежонком, и решил спуститься к мсье Ибрагиму, чтобы, воспользовавшись его рассеянностью, стянуть пару банок консервов.

Катастрофа! Он уже засел за кассу. Его глаза, созерцающие Бардо поверх мыла и бельевых прищепок, лучатся смехом. Я его таким никогда не видел.

– Вы женаты, мсье Ибрагим?

– Да, конечно, женат.

Он не привык, чтобы ему задавали вопросы.

В этот момент я мог бы поклясться, что мсье Ибрагим вообще не так стар, как все полагают.

– Мсье Ибрагим! Представьте, что вы с вашей женой и Брижит Бардо оказались на корабле. Корабль терпит крушение. Что вы будете делать?

– Готов поспорить, что моя жена умеет плавать.

Я никогда не видел, чтобы чьи-нибудь глаза так смеялись, можно сказать, хохотали во все горло, это ужасно шумно.

Вдруг – полная боеготовность, мсье Ибрагим вытягивается по стойке «смирно»: на пороге лавки появляется Брижит Бардо.

– Добрый день, мсье, не найдется ли у вас воды?

– Разумеется, мадемуазель.

И тут происходит нечто невообразимое: мсье Ибрагим сам отправляется за бутылкой воды, достает ее с полки и приносит ей.

– Спасибо, мсье, сколько я вам должна?

– Сорок франков, мадемуазель.

Брижит аж подсказывает от удивления. Я тоже. Бутылка минералки в ту пору стоила пару франков, но никак не со-

рок.

– Я и не знала, что вода здесь такая редкость.

– Редкость не вода, мадемуазель, редкость – это настоящие звезды.

Он говорит это с таким очарованием, с такой неотразимой улыбкой, что Брижит Бардо слегка краснеет, кладет сорок франков и уходит.

Я все еще не могу прийти в себя.

– Да, смелости вам не занимать, мсье Ибрагим.

– А как же, малыш Момо, надо же мне как-то компенсировать все те консервы, которые ты у меня стибрил.

В тот день мы подружились.

Вообще-то теперь я мог бы красть консервы и в другом месте, но мсье Ибрагим заставил меня поклясться:

– Момо, если уж тебе необходимо воровать, приходи и воруй у меня.

Впоследствии мсье Ибрагим надавал мне кучу ценных советов, как заполучить отцовские деньги, чтобы тот при этом ни о чем не догадался: подавать подогретый в духовке вчерашний или позавчерашний хлеб; понемногу добавлять в кофе цикорий; по несколько раз заваривать чайные пакетики; разбавлять его привычное божоле вином по три франка за бутылку и, венец всему, гениальная идея, доказывающая, что мсье Ибрагим был экспертом в том, как обьегорить кого угодно: подменять деревенский паштет собачьими консервами.

Благодаря вмешательству мсье Ибрагима в мире взрослых возникла трещина: он перестал быть той сплошной стеной, о которую я разбивал себе лоб, сквозь образовавшуюся щель мне была протянута рука.

У меня скопилось двести франков, теперь я мог снова доказать себе, что я мужчина.

На Райской улице я сразу направился к козырьку, под которым стояла новая хозяйка моего медвежонка. Я нес ей подаренную мне раковину, настоящую, из моря, из всамделишного моря.

Девушка улыбнулась мне.

В этот момент с аллеи вынырнул какой-то мужчина, припустивший бегом, как крыса, за ним неслась проститутка, вопившая:

– Держи вора! Сумку отдай! Держи вора!

Не мешкая ни секунды, я выставил ногу. Вор растянулся в нескольких метрах от нас. Я взгромоздился на него.

Вор взглянул на меня; увидев, что это всего лишь мальчишка, он улыбнулся, готовясь вклепить мне затрещину, но, поскольку вопившая что есть мочи девица уже нарисовалась поблизости, он вскочил и был таков. К счастью, вопли проститутки помогли избежать стычки.

Она приблизилась, покачиваясь на высоких каблуках. Я протянул ей сумку, она радостно прижала ее к пышной груди, издававшей такие славные стоны.

– Спасибо, малыш. Что я могу для тебя сделать? Хочешь

разок задаром?

Она была старая. Ей уже было лет тридцать. Но мсье Ибрагим мне всегда твердил, что нельзя обижать женщин.

– О'кей.

И мы поднялись к ней. Хозяйка моего медведя была явно возмущена тем, что товарка увела меня у нее из-под носа. Когда мы проходили мимо, она шепнула мне на ухо:

– Приходи завтра. Я тоже не буду брать с тебя денег.

Ну, я не стал ждать до завтра...

Мсье Ибрагим и проститутки отнюдь не облегчали мне отношений с отцом. Я приступил к ужасному и головокружительному занятию: принялся сравнивать. Возле отца мне всегда было холодно. А с мсье Ибрагимом и проститутками становилось теплее и как-то светлее.

Я разглядывал высокий семейный книжный шкаф, где в несколько рядов выстроились книги – все те книги, которые, по идее, должны вмещать суть человеческого духа, свод законов, тонкости философии. Я смотрел на них в темноте – «Моисей, закрой ставни, свет разъедает переплеты!» – затем я смотрел, как отец читает в своем кресле, огороженный кругом света, падающего от желтой лампы, нависавшей над страницами, словно совесть. Отец был замкнут в стенах науки, он обращал на меня не больше внимания, чем на приبلудного пса – кстати, он ненавидел собак, – ему не хотелось бросить мне хотя бы косточку от его познаний. А что, если попробовать слегка пошуметь?..

– Ой, извини.

– Моисей, замолчи. Я читаю. Я работаю...

Работа – это было великое слово, служившее объяснением чему угодно...

– Прости, папа.

– К счастью, твой брат Пополь не был таким.

Пополь – это было другое наименование моей никчемности. Отец всегда швырял мне в лицо воспоминание о моем старшем брате Пополе, когда я делал что-нибудь дурное. «Пополь-то был на редкость усидчив в школе. Пополу нравилась математика, и он никогда не пачкал ванну. И Пополь не писал мимо унитаза. Пополь так любил книги, которые любит папа».

В сущности, не так уж плохо, что мама вместе с Пополем уехала вскоре после моего рождения; если мне было так тяжело бороться с воспоминанием, то уж жить рядом с подобным живым совершенством мне было бы просто не под силу.

– Папа, ты думаешь, я бы понравился Пополу?

Отец с ужасом взирает на меня или, скорее, пытается меня расшифровать.

– Что за вопрос!

Вот как он мне ответил: «Что за вопрос!»

Я научился смотреть на людей глазами моего отца. С подозрением, презрительно... Разговаривать с продавцом-арабом, пусть даже он и не араб, поскольку в торговле араб – «это значит: открыт с восьми утра до полуночи и даже

по воскресеньям»; делать одолжение проституткам – все это я хранил в потайном ящичке своего сознания, официально это не являлось частью моей жизни.

– Почему ты никогда не улыбаешься, Момо? – спросил меня мсье Ибрагим.

Вот это был настоящий удар, вопрос ниже пояса, я не ожидал этого.

– Улыбка – это роскошь богатых, мсье Ибрагим. У меня на это нет средств.

Естественно, чтобы мне досадить, он разулыбался.

– Значит, ты думаешь, что я богат?

– У вас все время есть деньги в кассе. Я не знаю, у кого еще под самым носом было бы столько денег.

– Деньги нужны для того, чтобы оплатить товар и аренду магазина. И знаешь, в конце месяца у меня их остается совсем немного.

И он улыбнулся еще шире, будто бросая мне вызов.

– Мсье Ибрагим, когда я сказал, что улыбка – это роскошь богачей, я имел в виду, что это для счастливых людей.

– А вот тут ты ошибаешься. Улыбка и делает нас счастливыми.

– Да ну!

– Попробуй.

– Да ну, говорю.

– Тем не менее, Момо, ведь ты обычно ведешь себя вежливо?

– Конечно, иначе я получу оплеуху.

– Вежливость – это неплохо. Любезность уже лучше. Попробуй улыбнуться, сам увидишь.

Ладно, в конце концов, когда тебя вот так мило упрощает мсье Ибрагим, украдкой подсовывая банку тушеной капусты высшего сорта, отчего не попробовать...

На следующий день я веду себя просто как больной, которого ночью укусила неизвестно какая муха: я улыбаюсь всем.

– Нет, мадам, извините, я не понял задание по математике.

Бац: улыбка!

– Я не смог его сделать!

– Ну хорошо, Моисей, я объясню тебе заново.

Что-то невиданное. Меня не бранят, не делают выговор. Ничего.

В столовой...

– А можно мне еще чуть-чуть каштанового мусса?

Бац: улыбка!

– Конечно, с творогом...

И я получаю добавку.

На физкультуре я признаюсь, что забыл кеды.

Бац: улыбка!

– Но они еще не высохли, мсье...

А учитель смеется и похлопывает меня по плечу.

Я в полном упоении. Никто и ничто не может устоять передо мной. Мсье Ибрагим вручил мне совершенное оружие.

Я осыпаю всех улыбками с пулеметной скоростью. Никто больше не воспринимает меня как таракана.

По дороге из школы я сворачиваю на Райскую улицу. И говорю самой красивой потаскушке, высокой негритянке, которая мне всегда отказывала:

– Эй! – Бац: улыбка! – Поднимемся?

– Тебе шестнадцать-то есть?

– Да мне уже давно шестнадцать!

Бац: улыбка!

Мы поднимаемся.

А после, уже одеваясь, я рассказываю ей, что я журналист и пишу толстую книгу о проститутках...

Бац: улыбка!

...и что мне нужно, чтобы она немножко рассказала мне о своей жизни, если, конечно, это несложно.

– Ты что, правда журналист?

Бац: улыбка!

– Ага, ну, в общем, учусь на журналиста.

Она говорит со мной. Я гляжу, как тихо приподнимается ее грудь, когда она воодушевляется. Не смею в это поверить. Женщина говорит со мной. Женщина. Улыбка. Она говорит. Улыбка. Говорит.

Вечером, когда отец приходит с работы, я, как обычно, помогаю ему снять пальто и встаю перед ним так, чтобы на меня падал свет и он меня видел.

– Ужин готов.

Бац: улыбка!

Он удивленно на меня смотрит.

Я продолжаю улыбаться. Под вечер это довольно утомительно, но мне удастся.

– Ты явно что-то напакостил.

И тут улыбка исчезает.

Но я не отчаиваюсь.

За десертом я пробую еще раз.

Бац: улыбка!

Он смотрит на меня в упор, явно чем-то обеспокоенный.

– Подойди! – велит он мне.

Я чувствую, что моя улыбка побеждает. Готово, еще одна жертва. Я подхожу. Может, он хочет меня поцеловать? Однажды он сказал мне, что Пополь очень любил его целовать, он был очень ласковым мальчиком. Может быть, Пополь с рождения усек этот трюк с улыбкой? Или же моя мама успела его этому научить.

Я подошел и встал вплотную к отцовскому плечу. Его ресницы подрагивают. Я по-прежнему улыбаюсь во весь рот.

– Нужно будет поставить тебе брекет-систему. Я и не замечал, что у тебя зубы торчат вперед.

С того самого вечера я и стал навещать мсье Ибрагима по вечерам, попозже, когда отец ложился спать.

– Я сам виноват, если бы я был как Пополь, отцу было бы легче меня полюбить.

– Да что ты об этом знаешь? Пополь уехал.

– Ну и что?

– Да может, оказалось бы, что он просто не переваривает твоего отца.

– Вы так думаете?

– Он уехал. Это ведь о чем-то говорит?

Мсье Ибрагим дал мне кучу мелочи, чтобы выкладывать столбики. Это меня немного успокоило.

– А вы знали Пополя? Мсье Ибрагим, вы знали Пополя? И как он вам показался?

Он резко закрыл кассу, словно боясь, что она вдруг заговорит.

– Момо, я скажу тебе одно: ты мне нравишься в сто, в тысячу раз больше, чем Пополь.

– Вот как?

Я был страшно доволен, но не хотел этого показывать. Я сжал кулаки и слегка огрызнулся. Надо же защищать собственную семью.

– Полегче, я не позволю вам говорить гадости о моем брате. Что вы имеете против Пополя?

– Он был очень хорош, Пополь, очень хорош. Но я предпочитаю Момо, уж извини.

Я проявил великодушие и простил его.

Неделей позже мсье Ибрагим направил меня к своему другу, зубному врачу с улицы Бабочек. У мсье Ибрагима в самом деле огромные связи. А на следующий день он сказал мне:

– Момо, улыбайся не так широко, этого будет достаточно. Да нет, я шучу... Мой друг заверил меня, что твои зубы вообще не нужно выправлять. – Он склонился ко мне, его глаза смеялись. – Только представь: заявляешься на Райскую улицу с этими железяками во рту – кто тогда поверит, что тебе уже шестнадцать?

Тут он меня просто сразил наповал. Так что я сам попросил немного мелочи, чтобы прийти в себя.

– Мсье Ибрагим, откуда вам все это известно?

– Я ничего не знаю. Я знаю лишь то, что написано в моем Коране.

Я сложил еще несколько столбиков из монет.

– Момо, это неплохо – ходить к профессионалкам. Первые разы надо всегда обращаться к профессионалкам, женщинам, которые хорошо знают свое дело. Позже, когда к этому начнут примешиваться всякие сложности, чувства, тогда ты сможешь довольствоваться любительницами.

Я перевел дух.

– А вы сами иногда туда ходите, на Райскую улицу?

– Рай открыт для всех.

– Ну вы и заливаете, мсье Ибрагим! Не будете же вы утверждать, что в вашем возрасте вы все еще туда заходите?

– Почему? Это что – только для несовершеннолетних?

Тут до меня дошло, что сморозил глупость.

– Момо, что скажешь, если мы с тобой пойдем прогуляемся?

– А вы что, мсье Ибрагим, иногда ходите пешком?

Ну вот, еще одна глупость. Тогда я широко улыбнулся:

– Да нет, я хотел сказать, что всегда видел вас только здесь, сидящим на этом табурете.

Но все равно я был чертовски доволен.

На следующий день мсье Ибрагим направился со мной в Париж, в красивый, как на открытке, Париж туристов. Мы прошлись вдоль Сены, которая на самом деле не совсем прямая.

– Смотри, Момо, Сена обожает мосты, она словно женщина, что без ума от браслетов.

Потом мы прогулялись по садам на Елисейских Полях, там, где театры и представления марионеток. Потом по улице Фобур Сент-Оноре, где было полно магазинов известных марок: «Ланвен», «Гермес», «Ив Сен-Лоран», «Карден»... Было смешно глядеть на эти огромные и пустые бутики и сравнивать их с бакалейной лавочкой мсье Ибрагима: по размеру она была не больше ванной, но там яблоку негде упасть, от пола до потолка – сплошные стеллажи в три ряда, до отказа забитые товарами первой, второй... и даже третьей необходимости.

– С ума сойти, мсье Ибрагим, как бедны витрины богачей. Да там и внутри ничего нет.

– Это и есть люкс, Момо: на витрине пустота, в магазине пустота, все сосредоточено на ценнике.

Мы завершили прогулку во внутреннем саду Пале-Рояля,

где мсье Ибрагим угостил меня свежевыжатым лимонным соком, а сам вновь обрел свою легендарную неподвижность, усевшись у барной стойки и неспешно потягивая анисовый ликер.

– Должно быть, классно жить в Париже.

– Момо, но ведь ты живешь в Париже.

– Нет, я живу на Голубой улице.

Я смотрел, как он смакует свой анисовый ликер.

– Я думал, что мусульмане не употребляют алкоголь.

– Да, но я суфит.

Ну, тут я понял, что продолжать бестактно, что мсье Ибрагиму не хочется говорить о своей болезни – в конце концов, он имеет на это право; на обратном пути я молчал до самой Голубой улицы.

Вечером я открыл отцовский словарь «Ла-русс». Должно быть, я и вправду беспокоился о здоровье мсье Ибрагима, потому что, по правде сказать, словари всегда меня разочаровывали.

«Суфизм – мистическое направление ислама, возникшее в VIII веке. В противоположность правоверному исламу он уделяет особое внимание внутренней религии».

Ну вот опять! Словари хорошо объясняют только те слова, которые и так известны.

Во всяком случае, суфизм не был болезнью, и это меня уже немного успокоило; это образ мыслей – хотя мсье Ибрагим любил повторять, что попадаются такие образы мыслей,

что сродни болезни. Тут я пустился по словарному следу, пытаясь уразуметь смысл всех слов определения. В общем, выходило, что мсье Ибрагим со своим анисовым ликером верил в бога по-мусульмански, но вроде как в контрабандной манере, так как делал это «в противоположность правоверному исламу», и это добавило мне хлопот... так как если правоверность состояла в «заботе о том, чтобы строго соблюдать закон», как утверждали люди из словаря... это, в сущности, означало очень обидную вещь, то есть что мсье Ибрагим был непорядочным, а следовательно, его компания мне совсем не подходила. Но с другой стороны, если соблюдать закон означало держаться как адвокат или как мой отец с его посеревшим лицом и нашим тоскливым домом, то я предпочел бы отступить от правоверного ислама заодно с мсье Ибрагимом. А еще люди из словаря добавляли, что суфизм был создан двумя древними парнями, которых звали Аль-Халладж и Аль-Газали – с такими именами им впору ночевать в мансардах в глубине двора – во всяком случае, здесь, на Голубой улице; и еще они уточняли, что суфизм – внутренняя религия, а мсье Ибрагим по сравнению со всеми евреями с нашей улицы, уж точно, был сама сдержанность.

За ужином я не мог удержаться, чтобы не засыпать вопросами отца, поглощавшего баранье рагу, точно это собачий корм «Роял Канин».

– Папа, ты веришь в Бога?

Он взглянул на меня. Затем медленно произнес:

– Ты становишься мужчиной, как я посмотрю.

Я не уловил связи. На мгновение мне даже показалось, что кто-то настучал ему о том, что я посещаю девиц с Райской улицы. Но он добавил:

– Нет, мне никогда не удавалось уверовать в Бога.

– Никогда не удавалось? Почему? Это что – требует громадных усилий?

Он взгляделся в сумрак квартиры.

– Чтобы поверить, что все это вообще имеет смысл? Да. Нужны огромные усилия.

– Но, папа, в конце концов, мы же евреи, мы с тобой.

– Да.

– Разве быть евреем не имеет никакого отношения к Богу?

– Для меня это больше не имеет никакого отношения.

Быть евреем просто значит обладать памятью. Скверной памятью.

Он выглядел как человек, которому нужно срочно принять несколько таблеток аспирина. Наверное, это оттого, что он заговорил, – впрочем, один дождь погоды не делает. Он поднялся и прямо от стола направился спать.

Несколько дней спустя он вернулся домой еще более бледный, чем обычно. Я почувствовал себя виноватым. Что, если, скармливая ему всякую дрянь, я подорвал его здоровье?

Он уселся и знаком дал мне понять, что хочет что-то сказать. Но удалось ему это лишь минут через десять.

– Моисей, меня уволили. В конторе, где я работаю, в моих услугах больше не нуждаются.

Честно говоря, меня не сильно удивило, что у них не было желания работать вместе с моим отцом – он, должно быть, угнетающе действовал на преступников, – но в то же время я как-то не представлял себе, что адвокат может перестать быть адвокатом.

– Придется мне снова искать работу. В другом месте. Придется затянуть потуже пояс, малыш.

Он пошел спать. Очевидно, его не интересовало, что я обо всем этом думаю.

Я спустился провести мсье Ибрагима; тот улыбался, жуя арахис.

– Мсье Ибрагим, как вы умудряетесь быть счастливым?

– Я знаю то, что написано в моем Коране.

– Наверное, мне придется как-нибудь стянуть у вас этот ваш Коран. Даже если евреям и не положено так поступать.

– Момо, а что это означает для тебя – быть евреем?

– Уф-ф, понятия не имею. Для отца это значит ходить весь день подавленным. А для меня... это просто какая-то хрень, которая мешает мне быть другим.

Мсье Ибрагим протянул мне орешки:

– Момо, что-то мне не нравится твоя обувь. Завтра пойдем покупать тебе ботинки.

– Да, но...

– Человек проводит свою жизнь только в двух местах: ли-

бо в кровати, либо в ботинках.

– Да ведь у меня нет на это денег, мсье Ибрагим.

– Я куплю их для тебя, Момо. Это мой подарок. У тебя одна-единственная пара ног, нужно же о них заботиться. Если ботинки жмут, ты их меняешь. Потому что ноги не заметишь!

На следующий день, вернувшись из лицея, на полу в полутемной прихожей я обнаружил записку. Не знаю почему, но при виде отцовского почерка сердце бешено заколотилось.

*Моисей,
прости меня, я уезжаю. Хорошего отца из меня так
и не вышло. Попо...*

Тут слово было зачеркнуто. Несомненно, он собирался бросить мне еще одну фразу о Пополе. Типа «с Пополем мне бы это удалось, но не с тобой» или «в отличие от тебя, Пополь – тот давал мне силы и энергию выполнять отцовский долг», – короче, гадость, которую он постыдился написать. Ну, в общем, намерение я понял, и на том спасибо.

*Возможно, мы еще свидимся когда-нибудь, когда ты
повзрослеешь. Когда мне будет не так стыдно и ты
меня простишь.*

Прощай.

Ну да, прощай!

*Р. С. На столе все деньги, что у меня остались.
Вот список людей, которых следует известить о моем*

отъезде. Они о тебе позаботятся.

Следовал список из четырех совершенно незнакомых мне имен.

И тут я принял решение. Придется притворяться.

Признать, что меня бросили, я не мог – тут и обсуждать нечего. Бросили дважды: первый раз – когда я родился, меня бросила моя мать; второй раз – теперь, мой отец. Если об этом пронюхают, со мной больше никто не захочет иметь дела. Что же во мне такого ужасного? Есть ли во мне что-то, из-за чего меня нельзя полюбить? Решение мое было бесповоротным: нужно симулировать присутствие отца. Заставлю всех поверить, что он здесь живет, ест здесь, что он все еще коротает со мной долгие скучные вечера.

Кстати, я не стал с этим тянуть: я спустился в бакалею.

– Мсье Ибрагим, у отца неважно с желудком. Что мне ему дать?

– Немного «Фернет Бранка». Держи, Момо, у меня есть бутылочка.

– Спасибо, пойду отнесу это, чтобы он поскорее принял.

С деньгами, которые оставил отец, я мог продержаться месяц. Я научился за него расписываться, чтобы заполнять необходимые бумаги, отвечать на письма из лица. Я продолжал готовить на двоих, каждый вечер я ставил вторую тарелку напротив своей; просто в конце ужина я выбрасывал его порцию.

Несколько вечеров в неделю специально для соседей из

дома напротив я, надев отцовский свитер, ботинки, припудрив волосы мукой, усаживался в его кресло и пытался читать Коран: мсье Ибрагим, уступив моим просьбам, подарил мне красивый новенький экземпляр.

В лице я сказал себе, что нельзя терять ни секунды: мне следует влюбиться. Выбора в общем-то не было, поскольку в школе учились только мальчишки; все были влюблены в дочь швейцара Мириам, которая, несмотря на свои тринадцать лет, скоренько сообразила, как царствовать над тремя сотнями жаждущих подростков. Я принялся за ней ухаживать с отчаянием утопающего.

Бац: улыбка!

Я должен был доказать себе, что кто-то может меня полюбить, я должен был поведать об этом всему миру, прежде чем кто-нибудь обнаружит, что даже мои родители – единственные, кто обязан терпеть меня во что бы то ни стало, – предпочли смыться.

Я рассказывал мсье Ибрагиму о ходе завоевания Мириам. Он слушал меня с усмешкой человека, знающего, чем все закончится, но я делал вид, что не замечаю этого.

– А как поживает твой отец? Что-то его больше не видно по утрам...

– У него много работы. С этой новой работой ему теперь приходится рано выходить из дому...

– Вот как? И он не сердится на то, что ты читаешь Коран?

– Вообще-то я читаю украдкой... А потом, я здесь не

слишком много уразумел.

– Если хочешь узнать о чем-нибудь, то книги тут не помогут. Надо с кем-нибудь поговорить. Я не верю в книги.

– Но, мсье Ибрагим, вы же сами мне всегда говорили, что знаете то...

– Да, я знаю то, что написано в моем Коране... Момо, мне захотелось увидеть море. Что, если нам съездить в Нормандию? Хочешь со мной?

– Да вы что, правда?

– Конечно, если твой отец согласен.

– Да он точно согласится.

– Ты уверен?

– Говорю вам, согласится!

Когда мы очутились в холле «Гранд-отеля» в Кабуре, я вдруг расплакался: не смог сдержаться. Я плакал два или три часа, задыхаясь в рыданиях.

Мсье Ибрагим смотрел, как я плачу. Он терпеливо ждал, когда я смогу заговорить. Наконец я смог выдохнуть:

– Мсье Ибрагим, здесь слишком красиво, здесь правда слишком красиво. Это не для таких, как я. Я этого не заслуживаю.

Мсье Ибрагим улыбнулся:

– Красота, Момо, – она повсюду. Везде, куда ни глянь. Так написано в Коране.

Потом мы пошли побродить по берегу моря.

– Знаешь, Момо, человеку, которому Бог сам не открыл

жизнь, книга ничего не откроет.

Я рассказывал ему о Мириам и говорил о ней тем больше, чем больше хотел умолчать об отце. Едва допустив меня в круг соискателей, Мириам тут же отвергла меня как недостойного кандидата.

– Это ничего, – промолвил мсье Ибрагим. – Твоя любовь принадлежит тебе. Пусть даже она ее не примет, она не в силах ничего изменить. Просто ей не достанется этой любви, вот и все. То, что ты отдал, Момо, твое навеки; а то, что оставил себе, – навсегда потеряно!

– А вы женаты?

– Да.

– А почему вы здесь не с женой?

Он указал на море:

– Здесь и вправду английское море, зеленовато-серое, а не обычного для воды цвета; как будто оно приобрело акцент!

– Мсье Ибрагим, вы мне не ответили про вашу жену! Где она?

– Момо, отсутствие ответа – это и есть ответ.

Каждое утро мсье Ибрагим просыпался первым. Он подходил к окну, вдыхал свет и медленно проделывал свои гимнастические упражнения – как каждое утро, всю жизнь. Он был невероятно гибким. Лежа в постели, я сквозь прищуренные веки видел силуэт все еще молодого, долговязого, нескладного мужчины, каким он, наверное, и был когда-то, только очень давно.

К огромному удивлению, как-то в ванной я заметил, что и мсье Ибрагим тоже подвергся обрезанию.

– Вы тоже, мсье Ибрагим?

– У мусульман, как и у евреев, Момо. Это Авраамова жертва: он протягивает своего сына Богу, говоря, что тот может его забрать. Маленький кусочек кожи, которого нам недостает, – это след Авраама. При обрезании отец должен держать сына: отец дарует собственную боль как воспоминание о жертве Авраама.

Благодаря мсье Ибрагиму я стал понимать, что евреи, мусульмане и даже христиане имели кучу общих великих предков еще до того, как начали бить друг друга по морде. Лично меня это не касалось, но все же я почувствовал себя лучше.

По возвращении из Нормандии, войдя в темную пустую квартиру, я не ощутил, что переменялся, но счел, что перемениться мог бы мир. Я думал, что следовало бы открыть окна, что стены могли бы быть светлее, думал, что, наверное, не обязан хранить эту пропахшую прошлым мебель – не прекрасным прошлым, а прогорклым старьем, воняющим, как старая половая тряпка.

У меня закончились деньги. Я стал понемногу продавать книги букинистам с набережных Сены, которых мне показал мсье Ибрагим во время наших прогулок. Каждый раз, продавая книгу, я ощущал приток свободы.

Прошло уже три месяца с тех пор, как исчез мой отец. Я по-прежнему поддерживал свой обман, готовил на двоих, и,

как ни странно, мсье Ибрагим задавал мне все меньше вопросов об отце. Мои отношения с Мириам шли ни шатко ни валко, но зато служили отличной темой для ночных разговоров с мсье Ибрагимом.

Иногда по вечерам на сердце бывало тяжело. Это потому, что я думал о Пополе. Теперь, когда отца больше не было рядом, мне хотелось бы познакомиться с Пополем. Его бы я уж точно лучше выносил, поскольку теперь меня не тыкали бы носом, противопоставляя его моей собственной ничтожности. Засыпая, я нередко думал, что где-то на свете у меня есть брат, красивый и совершенный, пока еще мне незнакомый, с которым мне, быть может, однажды удастся встретиться.

Как-то утром в дверь постучали полицейские. Они кричали прямо как в фильмах:

– Откройте! Полиция!

Я подумал: ну вот, все кончено, я совсем заврался и теперь меня арестуют.

Я накинул халат и отворил все засовы. Вид у полицейских был куда менее устрашающий, чем я себе воображал, они даже вежливо попросили разрешения войти. К тому же мне хотелось одеться, перед тем как отправиться в тюрьму.

В гостиной инспектор взял меня за руку и ласково сказал: – Мальчик, у нас плохая новость. Ваш отец умер.

Не знаю, что именно в тот момент поразило меня больше – смерть отца или то, что полицейский обратился ко мне

на «вы». Во всяком случае, я рухнул в кресло.

– Он бросился под поезд неподалеку от Марселя.

Это тоже было довольно странно: тащиться для этого в Марсель! Поездов ведь везде полно. В Париже их столько же, если не больше. Решительно, мне никогда не удастся понять отца.

– Все указывает на то, что ваш отец впал в отчаяние и решил покончить жизнь самоубийством.

Наличие отца-самоубийцы вряд ли могло принести мне облегчение. В конечном счете мне кажется, я предпочел бы отца, который покинул меня; по крайней мере я смог бы утешиться надеждой, что его мучают угрызения совести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.